

Виктор
КУРОЧКИН

*На войне
как на войне*



Виктор Александрович Курочкин

На войне как на войне (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3265165
Курочкин В. А. На войне как на войне: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-56033-2*

Аннотация

Имя В. Курочкина, одного из самых самобытных представителей писателей военного поколения, хорошо известно читателю по пронзительной повести «На войне как на войне», в которой автору, и самому воевавшему, удалось показать житейскую обыденность военной действительности и органично существующий в ней истинный героизм. Перу писателя присущ подлинный психологизм, лаконизм и точность выражения мысли, умение создавать образы живых людей. В книгу вошли повести о буднях на фронте в годы Великой Отечественной войны и советской мирной действительности, достоверно и без привычных умолчаний запечатлевшие атмосферу и характеры тех лет. Так, «Записки народного судьи Семена Бузыкина» не издавали в советское время по цензурным соображениям 25 лет.

Героев повести В. Курочкина «На войне как на войне» убедительно создали в одноименном художественном фильме знаменитые М. Кононов, О. Борисов, В. Павлов, Ф. Одинок.

Содержание

Заключенный дом	4
Глава первая	4
Глава вторая	8
Глава третья	11
Глава четвертая	15
Глава пятая	24
Глава шестая	28
Глава седьмая	33
Глава восьмая	40
Глава девятая	44
Глава десятая	50
Глава одиннадцатая	57
Глава двенадцатая	61
Глава тринадцатая	66
Последняя весна	71
Записки народного судьи Семена Бузыкина	90
Узор	90
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Виктор Курочкин

На войне как на войне (повести)

Заколоченный дом

Глава первая Молодчина

В паспортном столе городской милиции значится, что гражданин Овсов Василий Ильич появился в П*** в тридцатых годах, что он происхождения из крестьян-середняков, семейный и служит в артели «Разнопром». Другие данные о нем пока милицию не интересовали, да и незачем: Овсов не пьет, квартплату вносит аккуратно, с жильцами не судится. Наоборот, в доме, где он проживает почти двадцать лет, не только не причинил никому зла, но даже не сделал ничего такого, в чем бы можно было его упрекнуть.

– Золото Овсов! Сколько живем здесь – и ничего плохого от него не видели. Незаметный он человек, – говорили про Василия Ильича.

Василий Ильич мог незаметно где-либо появиться и еще незаметнее исчезнуть. Все, казалось, было пропитано в Овсове незаметностью: и поведение его, и наружность, и даже праздничный костюм. Если бы у жены Овсова спросили: «А какой у Василия Ильича нос?» – она бы, махнув рукой, сказала: «А я что-то и не помню. Нос как нос».

Как и когда появился в артели Овсов, также не заметили. Однажды председатель артели с техноруком, заглянув в проходную, увидели Василия Ильича.

– Кто ты? – спросил председатель.

– Вахтер.

Председатель взглянул на технорука. Тот пожал плечами.

Позвали сторожа. Тот посмотрел на Василия Ильича, потом на начальство и ухмыльнулся:

– Эва, так это ж Овсов. Вахтер наш. Вместе нанялись. Лет уж семь как. – Для уверенности сторож пересчитал пальцы. – Да, пожалуй, семь будет. А то и все восемь наберется.

Жил Овсов во «дворце полей», – так назывался в П*** один из самых старых домов на окраине, по соседству с кирпичным заводом и кладбищем. Этот дом – в три этажа – был построен при императоре Павле и резко отличался от всех прочих домов. Вероятно, он некогда имел вид: на темных, словно прокопченных стенах еще сохранились куски крепкой, как цемент, штукатурки и чугунные кронштейны; сверху дом оседлала замысловатая надстройка с дырами вместо окон и круглой, как зонтик, крышей, с которой свисали ржавые железные лохмотья. «Дворец» тесно обступали сараи. За сараями с одной стороны «дворца полей» – сам П*** с высоченной трубой городской бани, с другой – кладбище с деревянной церквушкой. Сбоку кладбища овраг, заросший рябиной, а за оврагом железная дорога с красной песчаной насыпью. От «дворца» до обвалившихся ям с зеленой водой и ссохшихся куч глины протянулось ровное, как стол, поле... Все оно было изрезано зелеными квадратами, перетянута проволокой, перегорожено заборами и заборчиками. Это поле горисполком временно отдал под огороды обитателям «дворца».

Обитатели «дворца полей» заслуживают особого описания.

Если бы автору дали право все переименовывать на свой лад, то он бы «дворец полей» переименовал во «дворец сторожей». И не без основания. Почти весь дом был заселен сто-

рожами. Лучшую квартиру занимал сторож универсама. Он выгодно отличался от других сторожей высоким ростом, хриплым басом и добротным овчинным тулупом; кроме того, ежегодно запахивал двадцать соток земли. Сторож фуражного магазина круглый год ходил в валенках с резиновыми галошами и под старую офицерскую шинель поддевал жилет на заячьем меху. Сторожа булочных мало чем отличались друг от друга: брились они по праздникам, постоянно возились с молочными бидонами и пили горькую. Называли их «парашютистами». Эта кличка была безобидной и носила чисто профессиональный характер. Дело в том, что сторожа, отправляясь на рынок с молоком, брали сразу два бидона и вешали их на себя, как парашют: один на грудь, другой на спину... Аристократом «дворца» считался сторож дровяного склада. Кроме коровы и двух боровов, он держал голубей с кроликами, копил деньги на «победу», а в выходной день надевал бостонский костюм.

Кладбищенский сторож, болезненный старичок, входил в разряд захудалых. Доходы он имел мизерные. Летом потихоньку торговал черемухой и сиренью, а зимой топил печь крестами брошенных могил. Прочие сторожа считались середняками: имели по коровенке и по десяти соток огорода.

Не хуже других жили и Овсовы, как говорят – дай бог каждому. У них тоже были и корова, и поросенок, и огородашко. Семья не обременяла Василия Ильича: он сам, жена и дочь-невеста. Василий Ильич был уже не молод, но и не так уж стар. Худощавый, узкоплечий, с овальным добрым лицом, он казался значительно моложе своих пятидесяти лет. Марья Антоновна, высокая, грузная женщина, выглядела старше мужа, хотя ей было всего только сорок. Она считалась отличной хозяйкой. Кормила, одевала семью на зарплату мужа и кое-что откладывала на «черный день». Нередко Марья Антоновна жаловалась соседям:

– Как мне надоел этот телевизор! Покою от него не вижу: все гости да гости. – Или: – Наталье-то своей опять справили новое пальто, да не нравится. Говорит, немодное. Другое надо покупать. Не жизнь – разорение одно. Хоть бы поскорей с рук ее сбить.

День шел за днем, год за годом. Событие следовало за событием. Но ничто, казалось, не задевало Овсова. Он выполнял только то, что от него требовали, – ни больше, ни меньше. Радостным его не видели, горестями он не делился, да и не с кем было делиться. У него не было ни друга, ни собутыльника. Может быть, этому способствовала некоторая замкнутость Василия Ильича или другое что, но, так или иначе, Овсова сторонились. Правда, случалось, в субботу зайдет к нему сосед и дружески хлопнет по плечу:

– День-то нынче крайний! Сходим в баньку, попаримся, пропустим стакашек по жилочкам. Э-э-эх!

Василий Ильич поморщится и скажет:

– Водка бела. Только ведь она, сосед, красит нос и чернит репутацию.

Он посещал собрания, но никогда не выступал, не возражал, подписывал обязательства и говорил начальству: «Слушаюсь». Одно время занимался в политкружке. Терпеливо переписывал из «Краткого курса» страницы, потом прочитывал их на семинаре и считался примерным слушателем. Но если кто-нибудь заводил с ним разговор о политике, он, как правило, отвечал так:

– Не нашего ума дело.

И тот, уходя, пожимал плечами:

– Черт знает, что у Овсова в голове.

И вдруг о нем заговорили...

– Слыхали, Овсов в колхоз просится?

– Это какой Овсов?

– Да тот же, вахтер.

– Не может быть!

– Заявление подал.

- Вот это да!
 - Подъемные задумал отхватить.
 - Какие там подъемные! Он не на целину, а в колхоз, на родину.
 - Вот чудеса. Жил человек тихо, незаметно и вдруг – смотри пожалуйста.
- А заявление действительно поступило. Было оно очень короткое – в три строчки.

«Прошу дать расчет. Уезжаю на постоянное местожительство в колхоз.
К сему – Овсов».

Секретарь партбюро был в недоумении. Он несколько раз прочитал заявление, нажимая на слово «колхоз», и задумался: «Не пойму. Ну кто этого мог ждать от Овсова? Разобрался-таки в решениях ЦК. Нет, видимо, мы еще плохо знаем своих людей».

Когда к нему вошел Василий Ильич, секретарь спросил:

- Вы это окончательно и добровольно, товарищ Овсов?
- Да. И я хочу успеть к севу, – спокойно подтвердил Василий Ильич.

Секретарь партбюро подошел к Овсову, взял его руку и крепко пожал.

– Молодчина! – И, стараясь не глядеть в лицо Василия Ильича, смущенно добавил: – Извини меня, не так о тебе думал.

Овсов, переступая с ноги на ногу, молчал.

– Ну, бывает же... А с отъездом мы вас не задержим... – И, сжав пальцы Овсова, парт-орг опять сказал: – Молодчина! Удивили вы меня, Василий Ильич; от души признаюсь, не ожидал я этого от вас!..

И после ухода Овсова секретарь еще долго удивлялся и спрашивал себя: «Что с человеком случилось?»

А вот что случилось погожим октябрьским днем тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года.

С утра, разорвав лучами сизую морозную дымку, из-за кладбища выкатилось солнце и, уставясь на «дворец полей» желтым прищуренным глазом, ехидно улыбнулось. Марья Антоновна, подойдя к окну и откинув тюлевую занавеску, зажмурилась от удовольствия.

– Ох, и день же нынче будет! Только белье сушить.

– Да, денек будет, – подтвердил Василий Ильич и, сунув ноги в резиновые сапоги, пошел в сарай. Накинув на рога коровы веревку, он отвел ее к кладбищу на отаву; потом принялся чистить хлев.

День разгорался. Это был редкий в наших краях октябрьский день, с бездонно голубым небом и низким, чуть теплым солнцем. На березах еще кое-где висели листья, маленькие, ярко-желтые, как новые пятки. Овраг и окраина кладбища были охвачены бездымным огнем осени. И только сирень по-летнему бодро держала упругие темно-зеленые ветки. Хорошее, праздничное и немножко грустное было в этот день в природе.

Приподнятое настроение с утра охватило и сторожей. Они все были необыкновенно добродушны и приветливы. Сторожа булочных без ругани взвалили на себя бидоны с молоком и, поддерживая друг друга плечами, отправились на рынок. Казалось, и солнце, прилипнув к бидонам, отправилось вместе с ними. Пока сторожа не скрылись за глиняным бугром, оно сидело на их спинах и беззаботно смеялось. Сторож дровяного склада все утро гонял голубей. Он стоял на крыше сарая, крутил над головой шест и кричал:

– Э-ге-гей! Го-лу-боньки, э-ге-гей!

И никто на этот раз не назвал его ни дураком, ни жуликом. Жены сторожей на редкость были милы. Развешивая во дворе белье, они любезничали, стараясь угодить друг другу.

Всех удивил кладбищенский сторож. Он вышел с балалайкой и, сев на ступеньку того, что раньше называлось крыльцом, сыграл «Барыню». А сторож универмага, подбоченясь, топнул кирзовым сапогом:

Барыня с горы катилась,
У ней юбка тра-та-та...

Трудно сказать, чем бы кончился этот удивительный день...

Может быть, так, слегка, повеселились бы они, да и разошлись; а может быть, сторожа раскошелились бы и закатали бы такую складчину, какой «дворец полей» не видел с мая; а может быть, и поругались бы. Все может быть... Если бы...

Приблизительно через час из-за того же бугра, за которым скрылись небритые «парашютисты», появился трактор.

А на тракторе сидело солнце, и улыбка у солнца была такая широкая, что сразу захватывала кабину тракториста, фары и обе гусеницы. Трактор выполз тяжело и медленно, точь-в-точь как сторож с трехпудовым мешком отрубей на спине. Въехав на бугор, трактор на минуту остановился, а потом сполз вниз, волоча за собой два прицепа, заваленные кирпичом. Сторожа приумолкли, скучились и с тревогой наблюдали. Они сразу вспомнили о повестках, полученных еще весной, о советах горисполкома – перебраться на другое поле. Трактор некоторое время недобро гудел, потом затрещал, захлопал, одна гусеница у него дернулась и, шлепая траками, обогнала другую. Затем он вместе с прицепами свернул на огороды. Кто-то охнул, кто-то заголосил... Василий Ильич вытер со лба пот и беспомощно растопырил руки. Трактор разорвал проволоку на его картофельном участке, полез на дощатый заборчик... Слабо треснул забор. Развернувшись, трактор сдвинул в кучу земляничные гряды...

– А я только усы новые посадил... Зачем? – спросил Овсов и оглянулся.

Кладбищенский сторож оказался рядом.

– Сколько ж раз повестками предупреждали!.. Все на авось надеялись? Давно известно: дома будут от завода. – И пальцем провел по струнам балалайки.

Глава вторая

Земляничные сны

Потерю пустыря сторожа переживали болезненно, но по-разному... Сторож универмага принялся писать жалобы. Полгода он их писал, а потом плюнул и стал хлопотать о пенсии. Сторож дровяного склада недолго тужил: сначала продал очередь на «победу», потом корову с голубями и поступил учиться на курсы шоферов. Сторожа булочных сбросили с плеч бидоны и пошли работать на завод – выставлять обожженный кирпич.

Был выбит из колеи налаженной жизни и Василий Ильич. Все потеряло для него смысл и значение. Даже квартира стала казаться ему пустой, холодной и совершенно ненужной.

– Зачем мне этот сарай?.. Зачем? – спрашивал он себя.

Жена, которую он ценил за сноровку и изворотливость, теперь представлялась ему неумной и вздорной бабой. А дочь Наталья, которую он недолго любил за то, что она дочь, а не сын, стала ему и вовсе в тягость.

Наталья, полногрудая разбитная девица, служила в поликлинике не то сестрой, не то санитаркой. Она безумно любила танцы и военных кавалеров. Вечеринки с танцами часто устраивались на квартире Овсовых. Наталья Васильевна лихо плясала, громко пела и еще громче визжала, когда ее щипали кавалеры. Марья Антоновна любовалась дочерью, а Василий Ильич ругался:

– Кобыла; двадцать лет, а она все ржет.

– Пусть гуляет. Наживется и замужем – невелика радость, – говорила Овсова и тащила мужа посмотреть на нового кавалера.

Василий Ильич нехотя поднимался и заглядывал в приоткрытую дверь.

– Который?

– Без кителя... Огурец жует.

– Ну и что?

– Ухаживает за нашей...

– Ухаживает?! – Василий Ильич плотно закрывал дверь. – С пятнадцати лет за ней ухаживают. Удивляюсь, как она в подоле тебе не принесла.

Не говоря уже о том, что суглинистый участок на пустыре ежегодно приносил три-четыре тысячи дохода, он был дорог Василию Ильичу своей связью с далеким прошлым. Сын крестьянина-земледельца, Василий унаследовал от отца вместе с псковским выговором любовь к земле. И как ни старались обстоятельства вытравить эту любовь, ничего не получилось. Правда, они исковеркали это чувство, но полностью убить его не смогли: любовь к земле теплилась в сердце Овсова.

До войны Василий Ильич также имел огородишко, но тогда он для Овсова не имел столь важного значения.

– Для забавы держу, чтоб не разучиться картошку растить, – говорил он. Сам же Овсов работал тогда на кирпичном заводе.

Война не обошла и Овсовых. Без вести пропал старший сын. Василий Ильич тоже не миновал фронта и даже побывал в госпитале... А вернувшись домой, с первых же дней занялся хозяйством. Срубил сарай и поставил туда корову, потом взялся за огород. Незанятой земли на пустыре тогда было много.

На кирпичный завод Овсов не вернулся, а чтобы не мозолить соседям глаза, устроился в артель вахтером. И все пошло своим чередом. Огород на пустыре цвел вовсю. Ему Василий Ильич отдавал душу и все свободное время. В проходной артели он томился, а здесь отдыхал.

«Наконец-то жизнь налажена так, как я хотел», – думал Овсов. И вдруг в один день все полетело кувырком.

Тоскливые думы раздражали Василия Ильича. Марья Антоновна видела состояние мужа и старалась по-своему его успокоить.

– Что ты мучаешь себя и нас?.. Что ж, теперь с ума сойти из-за огорода? Ведь не один ты пострадал... Все люди как люди. На хорошие места поустраивались. Тысячи зарабатывают.

– Тебе все тыщи. А ты пойди заработай!

– И пошла бы на твоём месте на завод...

Марья Антоновна не понимала, что, пытаясь утешить мужа, она только растревляла Василия Ильича. Пойти на завод! Нет, это не только вовсе не входило в планы Овсова, но и было противно его натуре. Все, что было связано с производством – машины, железо, соревнование, – вызывало у Василия Ильича болезненное раздражение.

«Зачем все это? Разве нельзя жить без машин, соревнований, без собраний? – спрашивал он себя и сам же отвечал: – Можно... Надо жить тихо, спокойно».

Перед Новым годом ещё одно событие посетило Овсовых. И хотя этого события Василий Ильич ждал давно и с нетерпением, он отнесся к нему совершенно равнодушно.

В один прекрасный день Наталья привела в дом мужа. Марья Антоновна ахнула, а Василий Ильич только рукой махнул.

– Привела, и ладно. Места хватит. Вот продадим корову и свадьбу сыграем.

Корову продали, справили угарную свадьбу, и новый человек вошел в овсовскую семью. А Василий Ильич, казалось, и не заметил. Он ещё больше замкнулся, стал рассеянным; видно было, что Василий Ильич о чём-то давно и сокрушенно думает.

Жизнь его постоянно раздваивалась, и в последние два года эта двойственность обострилась. Одна жизнь, которую он не любил, заставляла повседневно думать, раздражаться... Вторая – была личная жизнь Василия Ильича, из которой он исключал даже жену и дочь. Это была мечта о таком уголке, где бы ничто не напоминало о первой жизни. Бессонными ночами и во сне Овсов видел этот уголок. Небольшая опушка березового леса. Избушка под соломенной крышей. Прямо от нее к ручью спускается огород, забранный высоким частоколом. В огороде гряды с луком, капустой, огурцами; вдоль ограды кусты смородины, малины, под ними улы пчел. А он в одной рубашке, с дымарем в руках бродит по огороду. И никого, только он один. Ни крика человека, ни лязга железа, ни рокота мотора. Только гудят пчелы, беззаботно хлопочут птицы, перебираясь по камням, картавит ручей. Сознывая, что такая жизнь невозможна, Овсов все же надеялся найти хотя бы часть ее на родине, в Лукашах, где стоял заколоченный отцовский дом.

«Заведу свое маленькое хозяйство. С женой буду помаленьку работать в колхозе... Мы уже в годах – теперь с нас много не спросишь», – думал Василий Ильич.

В деревне Марья Антоновна бывала давно – в первые годы замужества. Впечатления от этих поездок у ней остались невеселые: работают много, а живут плохо. Долгое время о колхозе она и слышать не хотела. Мужа называла комедиантом и решительно заявляла, что скорее станет дворником, чем колхозницей. Но муж был настойчив. Всю зиму он рисовал Марье Антоновне прелести сельской жизни. И она стала задумываться. Хотя она и продолжала возражать, но не так решительно.

«Нам можно жить и в колхозе... Василий выхлопочет пенсию. Заведем сад, огород, посадим яблонь, землянику будем разводить», – размышляла Овсова.

И колхозная жизнь теперь уже рисовалась ей вся в яблоках, пересыпанная сочной земляникой.

– Что ж нам не жить в деревне. Свой дом, сад, – хвастливо заявляла Овсова на кухне.

– Вот и хорошо. И нас не забудете, Марья Антоновна. Может, когда на дачку пригласите, – ехидно говорили соседки. Но когда Овсова уходила, злословили: – Пригласит она, дожидайся. У нее зимой снега не выпросишь.

Теперь Овсовой снились только земляничные сны. То она видит банки – и все с земляничным вареньем. Марья Антоновна считает их, сбивается, опять пересчитывает; неожиданно банки начинают двигаться, потом пропадают. То появляется блюдо с молоком, в котором плавает большая, похожая на грушу, земляника. Марья Антоновна хочет поймать ее ложкой, но ягоды исчезают, и она узнает красное курносое лицо соседки. Лицо, плавая, гримасничает, злорадно улыбается: «А-а, земляники захотела, Овсова».

Как-то Марья Антоновна увидела во сне огромную земляничную гору. Свет от нее был вокруг багровый, как от пожара. По горе вверх карабкался человек. Человек уже было дополз до середины горы, но оборвался и скатился вниз. Засыпанный земляникой, он долго барахтался и, наконец выбравшись, пошел к Марье Антоновне... Она узнала своего Василия! От сильного толчка в бок Марья Антоновна проснулась.

– Что ты стонешь каждую ночь? – проворчал Василий Ильич. Опомнившись, Марья Антоновна заплакала и стала умолять мужа не ехать в колхоз.

За перегородкой, затаив дыхание, их слушали дочка с зятем.

Таково было положение в семье Овсовых. Впрочем, жили они мирно, если не считать мелких ссор Марьи Антоновны с зятем, во время которых она заявляла, что скоро развяжет ему руки.

Наконец то, чего ждала и боялась Овсова, случилось. В тот день Василий Ильич явился с работы раньше обычного. Марья Антоновна перебирала в буфете посуду.

– Ну, Маша! С городом теперь покончено, расчет получил. Будем собираться. Сегодня напишу письмо соседу Матвею Кожину, чтоб встретил нас.

Марья Антоновна охнула. Стакан из ее рук выскользнул и упал на пол. Василий Ильич хотел крикнуть: «Раззява!» – но, подавив раздражение, усмехнулся.

– Хорошая примета, Марья, когда посуда бьется.

Марья Антоновна устало опустила на стул.

– Ну полно тебе, – смущенно проговорил Василий Ильич и, подойдя к жене, погладил ее по голове.

– Да как же «полно»? Уже ехать. Скоро-то как. Дай хоть опомниться, – всхлипнула Марья Антоновна.

– Ничего, не горюй, Маша. Проживем. Теперь мы будем дома. А дома, говорят, и солома едома.

– Ох, не к добру, Василий. Чует мое сердце – не к добру.

– К добру или к худу, теперь ничего не изменишь.

Марья Антоновна вытерла лицо и, встав, сухо проговорила:

– Что ж, будем собираться. Но помни, Василий, если не по душе придется – уеду. Одного оставлю, а уеду. Ты это помни.

Разговор происходил в присутствии Натальи и ее мужа.

– В поездах теперь свободно ездить. До Зерков прямой поезд ходит, – сказала Наталья.

– Я так люблю дальнюю дорогу. Да если порядочная компания соберется... Батарея пива, преферанс, – поддержал Наталью муж, но, видимо поняв, что говорит не то, взъерошил волосы и обратился к Овсову: – Вы, Василий Ильич, насчет билета не беспокойтесь. Устроим.

Марья Антоновна тяжело вздохнула. К ней подошла Наталья.

– Мама! Не на тот же свет собираетесь. Не понравится – опять приедете. Разве мы вас оставим? Верно, Андрей?

– Да, да, конечно, какой может быть разговор, – поспешно заверил Андрей.

Глава третья В Лукаши

Поезд отошел глубокой ночью. Пассажиры, рассовав по углам вещи, притихли... Супруги Овсовы заняли в купе нижние полки. Марья Антоновна вырядилась в новый сатиновый халат и улеглась спать, подсунув под голову дорожный мешок. Василий Ильич не отрывался от окна. Бесконечной плотной, черной стеной проплывал лес; по белесым пятнам он узнавал березу, по остропикой макушке – елку, большими темными кучами мелькала ольха.

Радостное и вместе с тем тревожное чувство испытывал Василий Ильич. Он ехал в родные Лукаши. Овсов закрывал глаза и видел их. Над домами сцепились развесистые дряхлые ветлы и стоят, поддерживая друг друга, чтобы не упасть. За садами, среди синеватой капусты и темно-зеленой картофельной ботвы, извивается Холхольня – река на редкость капризная и каменистая. И видит Василий Ильич старый отцовский дом – почерневший, сгорбленный, крыша осела, буйно поросла крапивой и сивым репейником. «Наверное, и палисадника под окнами нет, и калину вырубili, а сколько ее росло...»

В последний раз Овсов был в Лукашах на похоронах отца. Уезжая, наглухо заколотил толстыми досками окна и входные ворота. Вспомнил Василий Ильич свой отъезд. Дождливой осенью по изрытой ухабами улице кривой мерин тащил телегу, в которой болтались корзинки и соседский сын Мишка. Мальчуган махал хворостиной, дергал вожжами и, подражая взрослым, покрикивал:

– Но-о-о... Чтоб тебя волки сожрали, ленивого!

Василий Ильич шел стороной. В окнах, сплющивая на стеклах носы, торчали ребятишки, из-за простенков выглядывали взрослые. В конце Зареки Василия Ильича остановила Устинья, дряхлая старуха.

– Ты, Васька, баткино хозяйство порушил, а своего не нажил, – проскрипела она. – Вот я и говорю – не в Илью ты пошел, нет, не то семя. Батка твой крепко за землю держался, зато и в почете был. Смотри, Васька, легче прыгай, ногу не вывихни! – И Устинья погрозила костлявым пальцем.

«Нет, бабка, не свихнулся я», – усмехнулся Овсов, вспомнив теперь в поезде Устинью.

В последнее время Овсова засыпал письмами сын соседа Мишка – тот самый Мишка, который отвез его тогда на станцию. Парень настойчиво просил продать дом.

Начало светать. От горизонта небо постепенно светлело, но вот все отчетливее и отчетливее стала проступать лимонная полоса и, расширяясь, теснить груды темно-серых облаков. Кончилась завеса дождей. Сквозь легкую, как марля, пленку тумана проглянуло чистое небо и плоский бледно-желтый круг солнца. Туман редет, синь неба все ярче и ярче; солнце, поднимаясь, сжимается, наливается золотом. Показалось село с дымными крышами; за ним долго кружились рыжие поля зяби. Потом дорогу стеснил молодой сосняк с голубоватыми почками на концах веток. Поезд рвет прохладный утренний воздух и, развешивая на кустах хлопья пара, уходит все дальше и дальше от темно-синего севера. Мелькают столбы, стучат колеса, наматывая километры, и тревожное, но теплое чувство наполняет Василия Ильича.

Через сутки поезд подошел к станции Зерки. Овсовых встретил Михаил Кожин. Василий Ильич не узнал его. Из белобрысого лопухого мальчугана получился высокий румянолицый парень. Он легко поднял чемоданы Овсовых и отнес их к машине. Работал Михаил шофером и приехал за гостями на колхозной полуторке. Марью Антоновну поместили в кабине. Василий Ильич сел в кузов, где уже набралось с десятков случайных пассажиров-попутчиков. Стоял на редкость жаркий апрельский день. Небо от жары побледнело.

Асфальт почернел и блестел, словно подмасленный. Грузовик взбирался на холмы, поросшие частым сосняком, спускался к водянисто-зеленым лугам, по которым еще бежали мутные ручьи.

Машина свернула с шоссе и покатила вдоль прошлогоднего картофельного поля, которое было сплошь забросано иссохшей белесой ботвой.

Показались Лукаши. Бревенчатые, рубленные то в угол, то в лапу, кое-где обшитые тесом дома, сильно почерневшие, с громоздкими мезонинами... Среди них белели два новых сруба.

«Строятся. Интересно – кто?» – подумал Овсов.

Над домами разбросали свои кривые сучья дряхлые, дуплистые ветлы и березы с замшелыми стволами. Верхние ветви у берез голые, но уже почернели от набухших почек, как будто на них пала густая тень, зато нижние уже покрыла голубоватая пороша весны. На макушках деревьев кучами висят гнезда и, громко крича, дерутся тощие белоносые грачи.

Машина прошла мимо куч битого кирпича. Лучшая часть широкой улицы замусорена, покрыта пылью. Сердце Овсова больно сжалось. Раньше на этом месте стояла деревенская церковь с узкими решетчатыми окнами и зеленым от мха куполом. Над куполом торчал черный крест, на котором так любили отдыхать птицы. Но это было давно. Крест еще в первые годы колхоза свалил комсомолец Петька Трофимов. Потом от старости рухнула и сама церковь.

Полуторка прогромычала по бревенчатому настилу моста через реку Холхольню. Вода шла на убыль, и река пестрела серыми горбами щербатых валунов. К берегу подходил трактор, волоча за собой по непролазной грязи неуклюжие дровни с навозом.

Машина въехала в заречную сторону деревни, по-местному – в Зареку. Василий увидел свой дом. Окна заколочены длинными тесинами, по обветшалому карнизу серыми гроздьями лепятся гнезда ласточек, а на входных воротах висит тяжелый ржавый замок. Но, взглянув на крышу, Василий Ильич удивился: она была сплошь покрыта свежими заплатами драни.

Михаил остановил машину около своего дома. На крыльце стояли Кожины – Матвей и его жена Анна. Матвей состарился: голова у него совсем облысела, а лицо, наоборот, заросло редким белым пухом.

– Ну, здорово, здорово, соседка. С приездом, – сказал Матвей, обнимая Овсова. Анна накрест поцеловалась с растроганным Василием Ильичом и заплакала. Подошла жена Михаила – Клава, коренастая, сероглазая, пожала Овсовым руки и стала торопить в избу... Сели за стол, Михаил хлопнул по дну бутылки. Гости и хозяева чокнулись, закусили. Разговор не вязался. А когда Матвей вторично наполнил стопки, Михаил кашлянул и осторожно проговорил:

– Я вашей усадьбой второй год пользуюсь. С папой-то мы разделились. Колхоз и отвел мне ее. Я и ограду поставил, крышу залатал. Совсем сгнила, течет, как решето.

Овсов грустно улыбнулся.

– Хотелось мне ваш дом купить, – продолжал Михаил. – До последнего дня не верил, что вы вернетесь...

Матвей вытер взмокшую лысину полотенцем и хлопнул им рыжую кошку, которая украдкой тянула лапу к тарелке с мясом.

– Правильно решил, Василий, – сказал он. – Деревню нельзя забывать. Поди, лет двенадцать на родину не заглядывал. Все позабыл, ничего не помнишь.

– Да, многое изменилось, – отозвался Василий Ильич. Он сидел, низко опустив голову, и равнодушно ковырял вилкой яичницу. Матвей налил еще по одной. Овсов с Михаилом отказались.

– Ну, вы как хотите, а я выпью. – Матвей потер ладони, потом лоб, опрокинул в рот стопку, пожевал корку хлеба и обратился к Овсову: – Как жил-то, Василий? Слыхали мы, кино свое имел... Как его, телемызор, что ль?

– Телевизор, – поправила Марья Антоновна и поджала губы.

– Ах ты, господи, кино свое, – вздохнула Анна и потянулась к бутылке: – Еще, что ль, будешь качать?

– Не трожь, – остановил ее Матвей. – Стало быть, неплохо жил, Василий...

– Да так себе, – пожал плечами Овсов.

– Мы ведь тоже теперь по-другому зажили, по-городски: зарплату получаем. Мне вот в марте две с Кремлем дали. Как ты думаешь, ничего?

– Двести рублей? – удивленно подняла брови Марья Антоновна. – И хватает?

Василий Ильич покосился на супругу, а Матвей усмехнулся и, посасывая огурец, проговорил:

– В нашу МТС из города инженер приехал. В Устиньиной избе поселился. Бабка-то Устинья позапрошлый год померла.

– Люди в деревне теперь очень нужны, – пробормотал Овсов.

– То-то и оно. Про Ваню Коня слыхал? Когда уезжал в город, все начисто распродал, кола не оставил. Этой зимой вернулся опять в деревню. Колхоз ему новую избу ставит... Только я смотрю – плохо еще расколачивают домишки-то.

– Вот и я надумал, Матвей Савельич, в деревню перебраться. – Овсов хотел сказать шутливо, но сказал испуганно.

– Что же, ты не первый и не последний. Вот и с налогами легче теперь...

– А я вот что думаю: мы люди городские, и нам в колхозе нечего делать, – подала голос Марья Антоновна.

– Да-а, – крикнул Матвей и тяжело, исподлобья посмотрел на Овсову. Она громко прихлебывала чай, широко расставив локти и держа блюдце обеими руками. Матвей медленно перевел взгляд на окна и поднялся.

– Никак, сама голова колхозная к нам.

– А кто же у вас нынче? – поинтересовался Овсов.

Матвей даже удивился:

– Нешто не слыхал? Петька Трофимов, сын пастуха Фаддея.

В избу вошел худощавый, черный от загара человек, похожий на подростка. На макушке у него, задрав к потолку козырек, сидела серенькая кепчонка, из-под которой выбивались прямые белобрысые волосы. Увидев Василия Ильича, он сморщился, по-видимому улыбнулся, и, протянув руку, пошел к столу.

– С приездом, с приездом... Как доехали? Как здоровье?

Матвей заметил, что Марья Антоновна поздоровалась как-то странно: откинулась на спинку стула и, не глядя на председателя, подала руку вверх ладонью. «Должно быть, по-городски», – решил Матвей.

– Дороги тут тряские. Того гляди язык прикусишь, – сказала она.

– Что верно, то верно, – согласился Петр. – Дороги ужасные, особенно от Лукашей до большака.

Пока говорили о дорогах, хозяйка успела очистить место за столом и, поставив стул, пропела:

– Милости просим, Петр Фаддеевич, за компанию.

Петр хотел отказаться, но где там: Кожины гуртом обступили его и почти силком усадили за стол. Он смущенно стянул с головы кепку и сунул меж колен. Но хозяйка выудила ее оттуда, встряхнула и повесила на гвоздь рядом с зеркалом, а на колени положила полотенце, расшитое бордовыми узорами.

«Вот она какая деревня... С расшитыми рушниками, с шумным гостеприимством, обильным угощением», – подумал Василий Ильич.

Петр выпил стопку водки, с одной тарелки подцепил огурец, с другой – томленую картофелину и, решительно отставив штрафную, которую Матвей поспешил наполнить, заговорил с Овсовым:

– А я поджидал вас, Василий Ильич. С нетерпением ждал.

– Даже с нетерпением? – усмехнулся Овсов.

– Не верите?.. Спросите у них.

– Это точно, – подтвердил Михаил.

– Смотри-ка, какой почет! Словно министру, – и Марья Антоновна захохотала.

– А я и место для вас подыскал, – продолжал председатель, – прямо с производства на производство...

Овсов машинально поддел ломтик шпика и долго держал его на вилке, как бы недоумевая, зачем он ему понадобился.

– Думаю свой кирпичный завод строить. – Петр выжидательно посмотрел на Овсова. – А вас хочу начальником работ назначить: как мне известно, вы с этим делом знакомы.

Василий Ильич, не зная, что ответить, нехотя жевал шпик и постукивал вилкой. Его выручил Матвей:

– Не поднять нам завод, людей мало.

– Завод – слово громкое. Заводик – вернее будет сказать. Людей мало, действительно мало... И все-таки решился. – Петр опять обратился к Овсову: – А как вы смотрите, Василий Ильич?

– Пока я ничего не могу сказать... Дайте осмотреться, – глухо ответил Овсов.

– Да, да, конечно, – согласился Петр. – Пока устраивайтесь. Дом расколачивайте, огород пашите, оседайте на земле прочно, навсегда, – и широко улыбнулся. – А мы поможем чем можем.

Председатель переговорил с младшим Кожиным о предстоящей поездке на станцию за семенами, торопливо простился и так же торопливо вышел.

– И все-то он торопится, торопится и торопится, царица небесная, – вздохнула хозяйка.

– Потому что о колхозе беспокоится, – веско заметил Матвей. – Слышь, Ильич, он прокурором был. Вот мой Мишка в подметки ему не годится.

– Ладно, хватит, слышали, – обиделся Михаил и вышел из-за стола.

Поднялся и Василий Ильич.

Глава четвертая

Петр Трофимов

Что жизнь-то вообще чудесна, Пека – сын потомственного пастуха Фаддея Трофимова – узнал очень рано. Но он также рано узнал и другое – жить-то живи, но не забывай получше смотреть да оглядываться.

Пятилетним мальчонкой Пека получил в жизни первый щелчок. В те времена в Лукашах около пожарного сарая висел кусок рельса. Это был своего рода колокол, который поднимал лукашан на пожар или на деревенскую сходку. Особым вниманием пользовался рельс у ребятишек. На нем можно было качаться, а иногда колотить этот рельс тяжелым ржавым болтом. И вот как-то этот рельс легонько поцеловал Пеку в затылок. Пеку унесли замертво. Но нет худа без добра. Пека стал самым знаменитым человеком в Лукашах, а поэтому трогать глубокую вмятину на затылке разрешал не всякому.

На восьмом году жизни Пеке посчастливилось попасть под первый трактор, появившийся в Лукашах. Доктора наотрез отказались его вылечить, заявив: «Нам с ним делать нечего». Но Пека все-таки выжил.

А в пятнадцать лет Пека совершил такое, чего и сейчас не могут забыть в Лукашах. Комсомольцы решили из старой церкви сделать клуб. Для этого решили раньше всего снять с купола крест. Решить-то решили, а смельчака – добраться до креста по круглому, обросшему скользким мхом куполу – не находилось. За это дело взялся Пека, предварительно поставив условие, что если он доберется до креста и привяжет к нему веревку, его сразу же примут в комсомол.

Посмотреть на Пекин подвиг сошлась вся деревня.

Пека, прикрепив к босым ногам досочки, утыканные гвоздиками, полез на купол. Внизу, потрясая кулаками, заголосили старухи, призывая господа покарать антихриста. И действительно, жутко было Пеке. Зеленый круглый купол походил на арбуз, и карабкаться по нему было очень трудно. Когда Пека поскользнулся и его потянуло вниз, старухи закричали: «Брось, Пека, бог покарает!»

Как добрался до креста, Пека и сам не помнит. Зато очень хорошо помнит, как батька до полусмерти порол его ремненным чересседельником.

Неожиданно для всех Пека отличником окончил среднюю школу.

«Вот и не гляди, что батька пастух. Малец-то – голова!» – удивлялись лукашане, а потом решили, что Пека пошел по маткиной линии и удался в деда Федота, который умел складно и много говорить.

То было перед войной.

С фронта Пека явился офицером, с десятком орденов и медалей.

Жить в колхозе было тяжело. В Лукашах один за другим заколачивались дома. Фаддей Трофимов жил один – жену он схоронил сразу после ухода сына на фронт. Петр пробыл у отца месяц и тоже уехал. Что делал он в городе, в Лукашах точно не было известно, только ходили слухи, что якобы он выучился на юриста и работал где-то прокурором.

Он появился за неделю до Нового года. По пустынной улице прошел невысокий человек с чемоданом в руках, в драповом пальто с серым каракулевым воротником, в новых валенках и в шапке с кожаным верхом. Прошел медленно, пристально разглядывал дома, перешел по лавам через Холхольню и по тропинке свернул в Зареку. Матвей Кожин в это время пилил с женой дрова.

– Кто ж такой? – спросила Анна.

– Да кто ж?.. Не иначе как Петька Трофимов. По походке видно. Вона как носки по сторонам разбрасывает. Его походка.

– Какой справный, – заметила Анна.

Матвей что-то буркнул, плюнул на ладонь и с силой дернул пилу. Пила из реза выско-
чила и, пробороздив по бревну, уткнулась в овчинную рукавицу.

– Чего стоишь, рот разиня?! – вскипел Матвей.

Анна нехотя оторвала глаза от дома Трофимовых и, вздохнув, принялась пилить.

Когда Петр вошел в дом, Фаддей лежал на кровати поверх одеяла, подсунув под голову
руки.

– Здесь Фаддей Романыч Трофимов живет? – спросил Петр сдавленным голосом.

– Я Фаддей Трофимов, – ответил, приподнимаясь, старик.

Петр прошел по избе, посмотрел на стены, на запыленные рамки с фотографиями, на
генерала с журнальной обложки, у которого видны были лишь погоны да пуговицы, на икону
с мрачным ликом чудотворца и присел на лавку у окна.

– Тебе кого? Аль меня? – спросил Фаддей и, не получив ответа, опять лег.

С болью глядел Петр на стол, покрытый рваной клеенкой, на лампу, из которой сочился
керосин, на засаленный рукав полушубка, свисавший с печки. У скамейки дремал большой
черный кот. Петр погладил его. Кот, старательно выгнув спину, потерся об его валенки.

– Если ты, товарищ, насчет пастуха, так я буду пастухом. Кому же еще быть, как не
мне, – проговорил Фаддей, спуская с кровати ноги.

Петр почувствовал, что дальше молчать невмочь, что его душит.

– Папа, ведь это же я.

Петр поддержал шагнувшего к нему отца и крепко обнял.

– Сынок, Петька, приехал, – пробормотал Фаддей, глядя лицо и плечи сына. – Вот ведь
плохо видеть стал, Петенька. Совсем не вижу в сумерки.

Он заторопился вздуть лампу и долго шарил в печурке спички. Зажгли лампу. Сквозь
мутное стекло чуть виднелся рваный язык пламени.

– Давненько ты, наверное, стекло не чистил, – заметил Петр.

– Какое там, – махнул рукой Фаддей, – обхожусь так. За керосином далеко ходить, да
и не нужна она мне. А ты голодный, Петька? Я сейчас печку затоплю, поужинаем. И мясо
найдем, и яички есть... Давно тебя поджидал, – говорил Фаддей, гремя заслонкой.

– Не надо, папа, – остановил отца Петр, – есть чем поужинать. Печкой мы займемся
завтра.

Он достал из чемодана банку консервов, круг копченой колбасы и полбуханки хлеба,
поставил на стол бутылку коньяку. Фаддей разыскал стопки и старательно вытер их подолом
своей рубахи. Отец с сыном выпили. Фаддей, понюхав корку, спросил:

– Это какое же?

– Коньяк.

– Ага, – понимающе кивнул Фаддей. – Дорогой, поди?

– Да не дороже нас с тобой, – улыбнулся Петр и пристально посмотрел на отца. – Папа,
на что ты деньги тратил, которые я тебе присылал?

– Да зачем их тратить? Разве деньги тратят? Деньги в хозяйстве сгодятся.

– Да в каком хозяйстве? – возмутился Петр. – Деньги я тебе присылал, чтобы ты на них
жил, чтоб мог нанять человека белье постирать, пол вымыть. Ты смотри, что у тебя за рубаха!
Фаддей обиделся.

– Да на что тебе сдалась моя рубашка? Не рваная – и ладно, а изорвется – починю,
нешто у меня рук нет. – И, помолчав, добавил: – А деньги твои, Петька, целы, все сберег.

– Да как же ты жил? – изумился Петр.

– А ты что ж думал, мы здесь с голоду пухнем? – усмехнулся Фаддей. – Я же пастух. А
пастух нынче самый зажиточный человек в колхозе... А ты надолго ль ко мне? Ну-ну, налей
мышьяку-то.

Фаддей выпил, закусил колбаской и весело взглянул на сына.

– Так много ль погостишь у меня?

– Я совсем приехал, отец, – глухо ответил Петр.

– Та-ак, – протянул Фаддей, – значит, не выдюжил, сорвался.

– Нет, отец, выдюжил, не сорвался.

– Аль несчастье какое? Может, она одолела? – и Фаддей пощелкал ногтем бутылку.

Петр улыбнулся:

– Да ты, я смотрю, недоволен...

– Мне-то что... живи.

Фаддей медленно наполнил стопку коньяком, опрокинул ее, долго мотал головой и вдруг грохнул по столу кулаком:

– Недоволен! Я зачем тебя учил?!

Петр смолчал. Старик еще хотел что-то крикнуть, но, видимо, вспышка гнева уже потухла. Он сгорбился и, упираясь руками в колени, покачал головой.

– Нет, видно, не получился из тебя человек. Опять ты в деревню. Батяка – пастух, и сын тоже не лучше. А я в тебя верил, вот как верил. – И Фаддей, уставясь в угол, перекрестился.

Петру стало обидно и жаль отца... Но в тот вечер он ему ничего не сказал. Сказать было нужно, да слов не нашлось.

Неделю Петр занимался домашними делами. Открыл вторую половину избы, натопил печь, вымыл стены, протер окна, набил свежей соломой матрацы, собрал отцовское белье и отдал соседке в стирку. Фаддей ему кое-как помогал.

Вскоре в Лукашах прошел слух, что из района едет сам секретарь райкома Максимов – снимать Лёху Абарина с председателей.

В субботу состоялось общее собрание колхозников. Собрание происходило в доме правления колхоза, в шестистенной избе, когда-то конфискованной у кулака Самулая. Этот дом объединял сразу три колхозных учреждения: управленческое, хозяйственное и культурное. В бывшей кухне разместились склад хомутов, молочных бидонов, мешков и прочих предметов, вроде дырявой банки из-под керосина и полутора десятков бутылок; в проходной комнате находилось правление: стоял шкаф, похожий на большой ящик, поставленный на попа, три табуретки и длинная, от дверей до окна, скамейка. Третью – большую квадратную комнату – называли клубом.

На собрание Петр пришел раньше всех и одиноко уселся в уголок, под плакатом, который восторженно звал убирать урожай. Первыми появились две женщины. По старомодной, со сборками, шубе, по тяжелой бордовой шали и по рябинкам на щеках Петр сразу узнал Татьяну Корнилову. Татьяна, охнув, неуклюже опустилась на переднюю скамью. Вторая женщина, в летнем сером пальто, была в три раза тоньше Татьяны и казалась девочкой-подростком. Когда она развязалась и стала поправлять волосы, Петр узнал и ее. Это была молодая вдова Ульяна Котова. Они обе посмотрели на Петра и громко засмеялись. Через минуту Ульяна одна взглянула на Петра, и глаза их встретились. Ульяна покраснела, а Петр, вздрогнув, поспешил отвернуться, – так много было тоски и надежды в черных Ульяниных глазах.

Пришли еще двое стариков: Еким Шилов и Андрей Воронин. Сняв шапки, они поклонились и, сев рядышком, не мигая уставились на стол, за которым счетовод Сергей Михайлов, уткнув нос в бумагу, торопливо писал. Шумно ввалилась компания краснощеких парней. Они заняли заднюю скамью и сразу же, как по команде, полезли в карманы за табаком. Среди них Петр с трудом узнал по горбоносой журкинской породе смуглого непоседу – Арсения Журку.

Через два часа собралось человек сорок. Больше было женщин и стариков. Счетовод поднял голову и, поглядев близорукими глазами, сказал:

– Кажется, сегодня все пришли.

«И только-то... – подумал Петр. – А сколько сюда собиралось народу пятнадцать лет назад! Плечом не пошевелить».

Вначале колхозники сидели молча, изредка перебрасываясь словами, а потом заговорили. Особенно выделялся густой голос Татьяны.

– Дали бы мне волю, я этого Абару-пьяницу повесила бы на поганой веревке, – повторяла она.

К правлению подкатила машина. Вместе с Лёхой Абариным вошли секретарь райкома Максимов и плотный мужчина с густыми короткими усами на широкоскулом лице. На нем был новый дубленый полушубок с пышным белым воротником, лохматая шапка и черные катанки. На секретаре райкома мешковато сидело бобриковое пальто с поднятым воротником. Мужчина в полушубке похлопал руками в кожаных перчатках и широко улыбнулся, отчего верхняя губа у него приподнялась и нос сразу обеими ноздрями сел на усы. Максимов снял кепку и тоже улыбнулся, но не так жизнерадостно, скорее грустно.

Лёха, видимо, чувствовал себя скверно. Он сел за стол, толстыми короткими пальцами расстегнул ворот шубы и тоскливо посмотрел в сторону окна. Лицо Лёхи было сонное, опухшее, с крупными складками под глазами. Он походил на человека, которого только что разбудили, кое-как нахлобучили шапку, против воли, полусонного, привели сюда и посадили за стол. Лёха пальцем, как палкой, постучал по столу и открыл собрание.

В президиум избрали Татьяну Корнилову, двух бригадиров, Максимова и счетовода Сергея – писать протокол.

Лёхе дали слово – доложить о состоянии дел в колхозе «Вперед». Но не успел председатель и откашляться, как вскочил Арсений Журка.

– Прошу простить, – он прищурил левый глаз, – мне кажется, Алексей Андреевич не сможет этого сделать.

– Почему же? – удивился Максимов.

– Опохмелиться Алексею Андреевичу надо, – протянул Журка.

Все захохотали, а Татьяна закричала:

– Нет, пусть расскажет, пьяная рожа, до чего колхоз довел.

Лёха лениво посмотрел на нее:

– Ну, чего орешь-то? Постеснялась бы людей.

– А что мне люди! – заголосила Татьяна. – Самому министру скажу, – и, обратившись к секретарю райкома, сказала: – Вот, товарищ Максимов, до чего он нас довел, мазурик, – штанов не осталось.

Стало тихо. Татьяна оглянулась и, присмирив, стала кутаться в шаль...

Доклад председателя прошел под шумок. Его не слушали, да и сам он старался говорить невнятно, комкая фразы. Из сказанного Петр запомнил, что на трудовень досталось по пятьсот граммов ржи и по рублю деньгами, что кормов едва хватит на ползимы, а сорок гектаров разостланного льна засыпаны снегом.

Выступил Максимов. Но Петр ничего не слышал, в голове колом стояли рубль и сорок гектаров льна под снегом. Голос секретаря райкома донесся до Петра, как из тумана:

– Мы рекомендуем вам в председатели товарища Трофимова.

Петр прислушался.

– Он послан сюда партией. Работать идет с желанием, человек, по-видимому, серьезный. – Максимов махнул рукой и добавил: – Да что я вам о нем рассказываю. Вы лучше меня должны знать: он же ваш односельчанин.

После минутного молчания кто-то громко произнес: «Та-ак».

– Позвольте вопрос, – поднял руку Арсений. – Вот у меня такой вопрос. – Журка опять прищурился. – А сколько ему колхоз платить будет?

– А это уж сколько он с вас запросит, – уклончиво ответил Максимов.

– Ага. Ну что ж, поторгуюсь! Поторгуюсь, товарищи колхозники? – вызывающе крикнул Журка.

Колхозники насторожились. «Ну и огарок вырос», – подумал Петр о Журке. Но подумал без злобы: то, о чем говорил Арсений, лежало на языке и у Татьяны, и у Екима Шилова, и у Кожина – у всех; но они молчали. И Петр бессознательно, нутром почувствовал, что молчание страшнее Журкиного глумления.

Встал Матвей Кожин.

– Я вот что скажу, – начал он. – Петра Фаддеича я знаю. И не против, чтоб он был председателем. Только пусть вначале скажет нам – по своей воле идет в колхоз или по приказу.

– Скажи, Петр Фаддеич, пообещай нам, – подхватил с озорством Журка.

Петр вышел к столу... Четыре десятка людей не спускали с него глаз. Глаза были колючие и насмешливые, строго выжидающие или равнодушно-пустые; и только одни большие Ульянины глаза в эту минуту были мягкие и влажные. Петр мгновенно увидел эти глаза и, опустив голову, проговорил:

– Я ничего обещать вам не хочу, – он замялся и стал вертеть пуговицу, – не то что не хочу, а просто не могу, – и Петр развел руки. Пуговица упала и, подпрыгнув, покатилась под лавку. Никто не проронил ни слова, как будто не заметили. И сам Петр не заметил, кто и когда ему подал пуговицу. Он услышал только чей-то глубокий вздох.

Он оглянулся и твердо сказал:

– Я иду по своей воле... Я коммунист.

– Ты нам скажи, сколько платить тебе, – торопливо напомнил Журка.

Петру стало жарко, подкатило желание крикнуть тоже злое и резкое, но он сдержался и сухо ответил:

– Я буду работать за трудодни.

Поднялся шум. Старики нагнулись и кричали друг другу в уши:

– За трудодни, говорит.

Абарин поплевал на ладонь, пригладил волосы и, подмигнув счетоводу, засмеялся. Багровое лицо его тряслось, шуба колыхалась, и вместе с ней колыхались серые клочья шерсти, торчащие из дыр. Петр стиснул зубы и резко бросил:

– Как видите, товарищи колхозники, не обременю вас.

И опять все примолкли. Петр смело взглянул на колхозников и увидел, что теперь они опускают глаза.

...В тот же вечер Петр провел заседание вновь избранного правления и настоял, чтобы подняли заваленный снегом лен. Правленцы долго и упорно сопротивлялись, доказывая, что хотя снег и неглубок, зато скован ледяной коркой, так как после оттепели были сильные морозы. Больше всех шумел бригадир Егор Королев:

– И думать нечего о льне, зубами его не выдерешь.

– Надо взять лен, это же тысячи! Оставлять его – безумие, – убеждал Петр.

– Так-то так, – соглашался Матвей Кожин, – только с нашим народом не осилить.

– Так неужели нет никаких способов взять из-под снега лен? – в отчаянии спросил Петр и посмотрел в угол, где сидел, помалкивая, председатель ревизионной комиссии Сашок Масленкин. Сашок, низкорослый мужичонка с детским выражением глаз, по-видимому, решил, что председатель спрашивает его, покраснел, неловко поднялся и бессвязно пробормотал:

– Снег ломать бороной если... Лошадь в бороны – и ломать.

Все посмотрели с удивлением на Масленкина. А счетовод, хлопнув Сашка по плечу, серьезно сказал:

– Золотая голова у тебя, Сашок. Жаль, что язык чугунный.

Поддержка малозаметного Сашка оказалась решающей.

Всю эту ночь Петр не спал... И, не дождавшись рассвета, пришел в правление. Он зажег лампу и долго ходил из угла в угол... И чем больше ходил Петр, тем больше раздражался. Раздражало все: и пол, усеянный окурками, и старые плакаты с призывами, и громоздкая печь без дверки, и глухая, тоскливая тишина. За окном терлась о раму озябшая ветка молодого тополя. Так прошел час. Устав ходить, Петр сел за стол, подкрутил у лампы фитиль. Желтый свет на минуту заглянул в темный угол за печку и, как бы убедившись, что там никого нет, потихоньку выбрался оттуда. Петр встряхнул лампу. Свет опять метнулся в угол, но сразу же там стало темно, как в печной трубе. Язык пламени задергался и стал быстро садиться, потом мигнул два раза и потух. Мутное, с лиловыми тенями прилипало к окнам зимнее утро. А тополь все терся и терся, изредка нетерпеливо щелкая по раме.

В девять часов Петр вышел на улицу. Серое небо висело низко и за деревней сразу сливалось с таким же серым, тяжелым снегом. Дул сырой западный ветер. Председатель поднял воротник и направился к дому бригадира.

Петр постучал. Никто не ответил. А когда он резко ударил по раме, в избе что-то грохнуло, за стеклом показалось лицо и сразу пропало. Вскоре заскрипели двери, и на крыльцо в валенках, с полушубком на плечах, без шапки вышел Егор Королев.

– Кого надо?

– Пора уж, Егор Иванович.

– А, Фаддеич, – осклабился Егор и, шаркая валенками, подошел к Петру. – Здорово.

– Здорово, бригадир, – ответил Петр, не подавая руки.

Егор, почесывая под полушубком живот, зевнул.

– Чего так рано?

– С людьми говорил?

– Сейчас пойду.

– Ладно, – и Петр, круто повернувшись, пошел в правление.

К десяти часам собралось всего восемь человек, в том числе Сашок, Матвей, Ульяна, бригадир и агроном – полная, румяная девушка с равнодушными голубыми глазами.

Петр отозвал ее с бригадиром в сторону и строго спросил:

– Где люди?

– Сказали – придут, – в один голос заявили они.

– Хорошо, будете сами работать, – предупредил их председатель.

Весь день поднимали лен. Работали без обеда до вечера. Ночью Петр мучительно думал: «Неужели и завтра так?» Тяжелые, порой безнадежные мысли не давали ему покоя: «Ведь для них же стараюсь. Разве они сами себе враги?»

На второй день народу собралось больше, а на третий – вышли почти все. Петр работал наравне с колхозниками. А через неделю присланные из района машины вывезли тресту.

За лен колхоз получил пять тонн пшеницы, а на текущий счет перечислили десять тысяч рублей. Счетовод составил ведомость на выдачу первого аванса. Но взять эти деньги из банка оказалось не так просто. Колхоз считался в районе миллионером по долгам, и со всех сторон набросились кредиторы.

– Счет арестован, – заявил Петру управляющий банком, когда он приехал за деньгами.

Петр растерянно посмотрел на чек.

– А как же быть-то теперь?

– Финансовая дисциплина. Пять тысяч мы уже списали за ссуду.

– Пять тысяч! – Петр зябко поежился. Перед глазами замелькали снег, кучи тресты, обветренные лица, красные, скрюченные пальцы. Матвей, со сдвинутой на макушку шапкой и охапкой льна, грозит ему пальцем: «Смотри, Фаддеич, не подведи...» Худенькая фигура Ульяны. Ульяна сбросила варежки и быстро выбирает лен, то и дело поднося пальцы ко рту. Окутанная паром лошадь с бороной, за ней маленький, с виноватым обмороженным лицом

Сашок... Татьяна, подхватив на лету сдернутый ветром платок, кричит: «Давай, бабы, давай! Председатель обещал пять рублей».

– Списали? Что же я им теперь скажу?

Управляющий протер очки и, помахивая ими, посочувствовал:

– Да, тяжело. Да ты не один в таком положении.

– Выдайте хоть остатки. Поймите, что вы отрубаете мне руки.

– Не могу, дисциплина.

Однако деньги Петру удалось вырвать с помощью секретаря райкома. Так, вместо обещанных пяти, колхозники получили на трудодень по два рубля и по килограмму пшеницы.

Незаметно пролетел месяц. Беспокойство, заботы изменили Петра. Он похудел, лицо его осунулось, и отцовский полушубок болтался на нем, как на гвозде. Все шли к нему: доярки требовали сена, свиноводы – отрубей, конюхи – упряжи. Все было нужно, и ничего не было. Бригадиров колхозники не слушались, и Петр видел, что их надо заменять. Но кем? «Людей, людей! Ах, если бы мне еще десяток настоящих. Закрутилось бы, завертелось».

Ночами Петр забывался в мечтах. Он видел свой кирпичный завод. Горы красного кирпича. Кирпичные скотные дворы, кирпичные дома с белыми наличниками, клуб. По южному склону бывших барских полей тянется колхозный сад. До реки рядами спускаются яблони, усыпанные полосатыми анисами, золотистой китайкой; словно чернилами облитые, устало опустив тяжелые ветви, стоят сливы. В пойме реки зреют помидоры, на глазах разбухают кочны капусты... Деньги, деньги текут на счет. Управляющий торопливо подписывает чеки, а счет пухнет и пухнет. Уже два миллиона. Из города в колхоз едут лукашане. «Мы к вам, Петр Фаддеич, примите». – «А где вы были, почему не приезжали восстанавливать?» – «Нас никто не звал».

– «Никто не звал», – Петр приподнялся, нащупал под подушкой папиросы. – «Никто не звал», – вслух повторил он.

«Если написать, а? Написать письма...» Порою ему становилось обидно и горько до слез. «Как все-таки несправедливо, – рассуждал он, – кричат: «В деревне теперь техника». А в городе – на заводе, фабрике – разве ее мало? А людей там сколько – тысячи, а у нас... Ах, если бы мне еще десятка два. Закрутилось бы, завертелось».

Петр разведal адреса уехавших лукашан и послал им письма. Весь месяц с нетерпением ждал ответов. Но их не было.

В марте начали готовиться к севу. Дела шли плохо. Скот отошал. Кормили его одной соломой, да и то не вдоволь. Настроение людей падало. Начались прогулы, бригады жаловались на грубость и ругань колхозников. Нужно было что-то предпринимать. Петр продал колхозный лес. Продал тайком, на корню, ведомственному леспромхозу. Деньги получил, минуя банк, и выдал на трудодень по три рубля. Лукашане благословляли председателя, но были и недовольные.

– Не тот выход, Петр Фаддеич, не по-хозяйски. Лес нам нужен. Не умирать же мы собираемся, – упрекнул Матвей Кожин.

– Знаю, что делаю, – обрезал Петр.

– Ну, коль знаешь, так и делай, – обиделся Матвей и, не простившись, хлопнул дверью.

Петр был взбешен, хотя отлично видел, что Матвей прав, и это его еще больше злило.

Отношения с отцом оставались натянутыми. Не помирило их и председательство Петра. На председателей Фаддей смотрел так: вначале попрыгают, потом поважничают, а под конец проворуются или сопьются, как Абарин. Свое недовольство Фаддей проявлял косыми взглядами и упорным молчанием. Но продажа леса взорвала старика.

Перед тем как сесть ужинать, Фаддей долго и истово крестился, необыкновенно аккуратно резал хлеб, боясь уронить крошку. Петр, наблюдая, как отец старательно скоблит ног-

тем ложку, думал: «Что с ним сегодня?» Наконец Фаддей начал хлебать щи, сопя носом и шумно дую на ложку. Поев, Фаддей отодвинул миску в сторону.

– Лес продал?

– Ну продал, – нехотя ответил Петр.

– Су-кин ты сын! Старики сто лет пуще ребенка берегли лес, над каждым деревом тряслись. А ты, сопляк, как им распорядился?

– Да как ты не поймешь, папа! – воскликнул Петр. – Разве я от хорошего лес продал?

– Всем хорошо не сделаешь.

– Я хочу заинтересовать людей.

– «Заинтересовать»! – передразнил Фаддей. – Так разве надо интересоваться? Нынче лес продал, а завтра чем будешь интересоваться?.. Молчишь.

Петр не выдержал. Он схватил полотенце и уткнулся в него лицом... Фаддей убрал со стола и, кряхтя, забрался на печку. А Петр все сидел, не отрываясь от полотенца. Потом он поднялся, вымылся и стал снимать сапоги. Фаддей окликнул сына:

– Петька, подь сюда.

Петр подошел.

– Я вот что скажу: жениться тебе надо. Вот брал бы Ульяну Котову. Хорошая баба, обмоет и обходит.

Хотя Фаддей и не смотрел на сына, Петр, нахмурясь, отвернулся.

– Об этом мне не было времени думать.

– Тебе и умереть времени не будет.

О продаже леса узнали в районе. Эта сделка заинтересовала прокурора, и благодаря ему лес остался стоять на месте. Петру на бюро райкома записали выговор.

Случалось, что у Петра опускались руки. Подкатывало желание бросить все и бежать. В эти минуты находилась тысяча причин, оправдывающих такое решение. Может быть, он и оставил бы Лукаши, если бы не памятная встреча у колхозного сарая.

Как известно, осенние ночи в наших краях очень длинные, очень темные и очень грязные. В одну из таких ночей Петр пешком возвращался из райцентра. Он сильно промок, усталость качала его из стороны в сторону, а в голове, как комар, ныла и ныла мысль: «Брось все и уйди. Уходи, уходи... Что тебе, больше всех надо?»

Около Лукашей Петр свернул с дороги и пошел к дому напрямик, усадьбами. Внезапно он услышал, как с глухим стуком к стене сарая привалилась дверь. Трофимов завернул за угол и увидел старуху с вязанкой сена.

– Ты что здесь? – крикнул Петр.

– Не погуби, кормилец! – заголосила старуха и бросилась в ноги.

– Ты что, с ума сошла, бабка?!

– По нужде, кормилец, – причитала старуха, – по нужде...

Петру было неприятно и стыдно, словно это его уличили в преступлении. Он поднял старуху и, стараясь говорить как можно мягче, спросил:

– Чья же ты будешь?

– Бобылка я, Аксютка Синицина, – всхлипнула старуха и вытерла концом платка глаза. – Одна у меня и есть коровушка. А сенца накосить нет мочи. В колхозе-то я все время работала. А теперь силушки не стало.

– Что же, ты так и живешь?

– Так, так, кормилец.

– Воруешь?.. – с горечью спросил Петр.

Аксютка вздохнула:

– Что же поделаешь?.. Бог смерти не дает, – и она опять завывала: – Помоги, кормилец! Положи мне содержание!

Этот вой больно ударил Петра.

Он крикнул:

– Не реви! Положу!

Он дал себе слово «положить ей содержание». Но, кроме Аксютки, были престарелые Иваны, Екимы, Афанасии, и все они нуждались в содержании...

Прошел год.

В середине февраля в Лукаши приехал Иван Копылов, по прозвищу Конь. В первый же день, под вечер, Конь пришел на дом к председателю и заявил:

– Давай, председатель, жилье и работу.

– Бери животноводство, – предложил ему Петр.

– Нате вам, боже, что нам негоже, – усмехнулся Конь. – А как с жильем?

– Будем тебе избу ставить, а пока расколачивай любой дом.

– А как хозяева?..

– Ну, это моя печаль.

– И тоже ладно, – сказал Иван. – Можно идти, товарищ начальник?

– Действуй, товарищ Копылов, – в тон ему ответил Петр. И они крепко пожали друг другу руки.

Приезд Овсова в Лукаши совпал с посевной горячкой. Петр измотался, как говорят, и физически, и душевно, дни и ночи проводя в бригадах. Он, как хозяин, рассчитывал делать одно, а районные руководители тянули на другое. Петр стремился увеличить посевы льна, создать кормовую базу за счет яровых, клевера и вики. Райком настаивал на кукурузе. Петр доказывал, что опасно новую, неосвоенную культуру засевать на больших площадях.

– Сорок гектаров, не меньше, – требовал уполномоченный.

Но не это больше всего смущало Петра. Безлюдье – вот что было страшно. Народу выходило на работу так мало, что нередко Петра брала оторопь... Появление в Лукашах Копылова, а следом за ним Овсовых подняло дух председателя.

– Видимо, и моя слеза до неба дошла, – шутил он.

Глава пятая

Заколоченный дом

По скрипучим ступенькам Овсов взойшел на крыльцо своего дома. Глухо стукнул замок, тяжело заскрипели ворота. Василий Ильич вошел в сени. Повсюду густо висела паутина, пахло сыростью, с шумом сорвалась летучая мышь и, поднимая пыль, ошалело заметалась, ударяясь о стены. Дверь в избу Овсов открыл с трудом.

– Давно я здесь не был, – прошептал Василий Ильич.

Он увидел посудный шкаф с одной дверцей, оклеенный внутри газетой. У стены сгорбилась громоздкая железная кровать. На стене висел зеленый от плесени полушубок, под ним стояли большие головастые валенки. Овсов подошел к комоду и выдернул ящик. Там хранились мячик с помятым боком и зачитанный до дыр «Конек-Горбунок». С волнением трогал Василий Ильич давно забытые предметы, и все отчетливее всплывали перед ним далекие годы детства. Над комодом висело зеркало в тусклой бронзовой рамке. Василий Ильич ладонью провел по стеклу. Под толстым слоем пыли обозначилась кривая трещина.

– Вот она...

Венецианское зеркало, привезенное отцом из Петербурга, было единственной роскошью в доме.

Илья Овсов двадцать лет проработал котельщиком на Балтийском заводе. Степанида, жена, жила в Лукашах, надрываясь, тянула хозяйство и растила малолетнего сына Васю. Илья не помогал. Наоборот, изредка навещая семью, он увозил с собой в город продукты на полгода. Сын подрастал. Жена со слезами умоляла взять его в город и обучить какому-нибудь ремеслу. Илья наотрез отказался.

– Пусть помогает по хозяйству; терпите, скоро все вместе будем.

– Да когда же это будет? Сколько же терпеть?.. Все жилы понадрывали. Ты посмотри, на что я похожа стала, – жаловалась Степанида.

Илье не хотелось смотреть на жену. Высокая смуглая Степанида до того высохла, что походила на старую почерневшую доску.

Не легче жил и Илья. Он терпел еще больше. Тяжелый труд котельщика измотал даже его железный организм. Ютился он у старухи в углу. Зарабатывал по тем временам большие деньги – семьдесят-восемьдесят рублей в месяц, а тратил на себя в день по пять-десять копеек. Хлеб, селедка и говяжий студень – таков был его стол. Рубашки носил домотканые, сшитые Степанидой; подметки его сапог были сплошь утыканы гвоздями и громыхали, как чугунные. Илья имел выходной костюм, но надевал его редко, когда это было крайне необходимо. Необходимо же было посещать один немецкий банк, где он хранил свой капитал. Русским банкам Илья не доверял, а кроме того, немцы платили три процента, а свои – два.

Овсова считали богачом, а о жадности его рассказывали анекдоты. Но он не был жаден, и не жажда богатства руководила им. Илья мечтал облагородить свой род и копил деньги, чтобы купить мельницу у помещика Михеева. Мельница находилась недалеко от Лукашей, на берегу речонки, окруженной со всех сторон высокими елями.

Ваське шел восьмой год, когда он с батькой ходил к барину покупать эту мельницу. Барин был плешивый, в очках. Большой, как подушка, живот мешал ему глядеть вниз и нагибаться. Барин тянул шею, тыкал тростью в Васькины ноги и спрашивал:

– Больно?

Ноги у Васьки были покрыты крупными цыпками.

– Не-а, – морщась, отвечал Васька.

– Не больно?! А теперь? – барин нажимал трость.

Ваське было ужасно больно, но отец смотрел так, как будто собирался пороть его, и Васька говорил:

– А мне и ничуть-то не больно.

Потом барин постучал по Васькиной макушке пальцем и спросил:

– Глуп?

– Глуп. Не знаю, в кого такой дурак уродился, – подтвердил Илья.

Купить мельницу не удалось, не хватило денег. Придя домой, Илья крепко выругался, а на следующий день уехал в город, как он выразился, «добывать последнюю тыщу».

Шел тысяча девятьсот четырнадцатый год. Илья был близок к цели. И вдруг Германия объявила войну; прямо с завода Илья бросился в банк и встретил только одного швейцара.

– Все уехали, а куда – не сказали. Надо полагать, в неметчину сбежали... Вот так-то, брат, – объявил швейцар. – Много народу прибегало, одну барыньку замертво увезли, – и, подозрительно оглядев костюм Ильи, спросил: – У тебя тоже деньги? Деньгам теперь, брат, крышка. Ай да немец, ловкач, сукин сын. – Покачав головой, швейцар громко высморкался и захлопнул дверь.

Илья вернулся в Лукаши. Привез он с собою злобу, кожаный бандаж – подтягивать килу – и зеркало, купленное за бесценок на толкучке.

С год Илья пил. На огороде все лето шипел самогонный аппарат. В вине Илья не знал меры и был дурным во хмелю. Пьяный, рвал ворот рубахи и, стуча в свою волосатую грудь кулаком, кричал:

– У меня в голове ума палата! А вы все – дураки. И царь – дурак. Безмозглый Николашка войну про...

Илье затыкали полотенцем рот, связывали вожжами и клали в холодные сени.

Отрезвление пришло неожиданно. Как-то мужики пили самогон в бане хромого сапожника Степана Корнилова. Пили до одурения и завели спор про запоры в амбарах. Илья кричал и ругался громче всех:

– Да разве у вас, дураков, замки? Где вам взять их? У меня замок из Петербурга – в жисть никому не открыть.

В компании находился первый в Лукашах скандалист и озорник, одноглазый Афанас Журкин. Афанас встал, покачался, как маятник, перед носом Овсова и, заикаясь, проговорил:

– С-с-порим на в-ведро само-гг-гонки...

– Поди прочь, дурак, – прогнал его Илья.

Афанас ушел, а через полчаса вернулся с мешком муки.

– Узнаешь?

Илья тупо уставился на мешок, ощупал его и сжал кулаки.

– Ты это как?!

Афанас захохотал и бросил Овсову связку ключей.

Придя домой, Илья долго смотрел на киот с Николаем Чудотворцем, потом зажег лампаду и встал перед иконой на колени. Всю ночь он молился, каялся, причитал, и жутко стало Ваське от батькиного воя. Утром, кончив молиться, Илья выпил ковш кваса, еще раз перекрестился и сказал:

– Шабаш, Степанида. Погневил бога, и хватит.

Он сдержал слово: хмельного не брал в рот до самой смерти, даже по престольным праздникам.

В революцию Илья получил две десятины земли и засеял их льном. Прошла гражданская война. Овсовы постепенно разживались. Илья занимался скупкой льна и кое-что нажил на этом. Появились две коровы, лошади, льномялка. «Неплохо и работничка иметь, и сеялку с молотилкой купить», – частенько подумывал Овсов. Коллективизацию он встретил как божье наказание, хотя и вступил в колхоз первым.

Василий Ильич на всю жизнь запомнил общее собрание в Лукашах. Уполномоченный – молодой парень в черной гимнастерке, туго перехваченной новым широким ремнем, – до полуночи убеждал народ идти в колхоз. Лукашане выжидали.

В десятый раз поднялся уполномоченный:

– Сейчас, товарищи, во какие ворота в колхоз, – и он до отказа развел руки. – Но помните, – процедил он сквозь зубы и постучал рукояткой нагана, – будет время, тогда вот... – и, сведя ладони, уполномоченный показал лукашанам узкую щель.

Никто не шевельнулся. И вдруг поднялся Илья. Наступая людям на ноги, он пробрался к столу.

– Пиши.

– Илья, опомнись! – истошно закричала Степанида.

– Молчать, дура, – цыкнул на нее Илья.

– Пиши: Овсовы.

– Кулака не принимать!

Голос прозвучал резко и неожиданно. Василий заметил, как дернулась у отца голова и как вытянулись у мужиков шеи.

– Это Аксютки Писарихиной Никифор. Его в детстве из-за плетня пыльным мешком хватили, так он с тех пор опомниться не может, – спокойно пояснил уполномоченному Илья. И все захохотали.

– Раскулачить его! – снова закричал Никифор.

Илья выждал, когда успокоятся, и, повернувшись к народу, сказал:

– Отдаю в колхоз двух лошадей, корову, два сарая, ригу с шатром и льномаялку. А ты что дашь, Никифор? Портки драные?.. Ну и все. – Илья нахлобучил до ушей шапку и вышел на улицу.

Дома Илья за весь день не сказал ни слова. А когда Степанида осторожно спросила его:

– Что же теперь будет-то? – Илья вплотную придвинулся к жене:

– Так надо, Степанида. Всякая власть – сила. Не пойдешь добровольно – сломают, на Соловки упекут. Слыхала, что Писарихин кричал?.. Нам теперь с тобой не много надо... Ваську в город спровадим. С нас, стариков, много не спросят.

Так Овсовы стали колхозниками.

Из Лукашей мужики один за другим потекли в город.

– Ну, а ты как смотришь, Василий? – нередко спрашивал Илья сына.

– А что смотреть? Пока мне и здесь неплохо, – отвечал сын.

Василию было уже двадцать лет. В тот памятный вечер он брился, спешил на гулянку в соседнее село. Десятилинейная лампа стояла на комод, касаясь зеркала высоким стеклом. У окна сидел отец и читал вслух газету. Намыливая щеки, Василий махнул помазком, и в тот же миг раздался треск, громкий, как выстрел из пистолета. Старинное зеркало лопнуло. Отец медленно приблизился к сыну. Был он на голову ниже, но зато шире в плечах и коренастее. Заскорузлые пальцы его сжались; неожиданно Илья подпрыгнул и вцепился сыну в волосы, тот охнул, упал и на коленях пополз за отцом. Илья пинком ноги распахнул дверь и вышвырнул сына за порог. Всю ночь провалился Василий в сарай на сене. Прибегала мать, плакала, звала в избу. Наутро он заявил, что уезжает в город. Его не отговаривали и молча проводили. Пока Василий собирался, мать, не двигаясь, сидела на табуретке и беззвучно глотала слезы. Илья топтался у стола, вздыхал, разводя руками...

– Вот как получилось... – задумчиво прошептал Василий Ильич и царапнул ногтем трещину.

В сенях громко заскрипели половицы. Пришел Михаил с топором и клещами. Старый овсовский дом затрещал, заухал; визг отдираемых досок звучно отозвался в пустых углах нежилой избы.

В первые дни Василий Ильич наводил порядок. Смастерил вешалки для одежды, сколотил расшатавшийся стол, починил табуретки, укрепил дощатые перегородки. Неделя пролетела незаметно. А когда за обедом Василий Ильич заявил, что собирается перебраться крыльцо, Марья Антоновна равнодушно сказала:

– К чему тебе торопиться? Погоди. Может быть, передумаем.

Василий Ильич вспыхнул:

– На носу себе заруби, Марья: здесь наше место.

На следующий день он с утра принялся поправлять крыльцо.

Глава шестая

Весенние дни

В начале мая весна зимовала: летел снег, по ночам землю покалывали острые морозцы.
– Май – коню сена дай, а сам на печку полезай, – жаловались колхозники.

Ждали тепла. Тепло принес обложной дождь. Он смыл холод, размочил землю, и освобожденная весна понеслась стремительно, широко разбрасывая мягкие зеленые крылья. Серые обмякшие поля и луга на глазах покрылись множеством ярко-зеленых лужаек. Потемнела озимь. Грязь на дорогах от солнца сморщилась, а ручейки похудели и старались поскорей ускользнуть в холодок. Незаметно разбухла черемуха, тополь сбросил с веток лиловых гусениц и выпустил липкие пучки пахучих листков. Ольха – серая, искривленная – надела новую махровую папаху. Неуверенно, боязливо щелкнул соловей.

В полях загудели тракторы. Отполированный лемех рядами клал бурые пласты, потом их кромсали острые диски культиваторов, а зубья борон, словно гребнем, прочесывали пашню.

Василий Ильич забирал огород высоким тыном. Колья и жерди рубил в роще за рекой и таскал на себе.

Сбросив с плеч громоздкую связку ольховых кольев, боясь разогнуть спину, Овсов присел отдохнуть.

– Так и горб нажить не мудрено, сосед!

Василий Ильич поднял голову и увидел Матвея Кожина. Матвей снял фуражку с захватным козырьком и, погладив лысину, присел рядом.

– Запоздала нынче весна.

– Запоздала, – согласился Овсов.

– Плохи дела, Василий...

Василий Ильич вопросительно взглянул на соседа.

– Сев-то пора кончить, а мы все еще возимся. Хуже всех мы в районе...

Чувство затаенной неловкости при встречах с односельчанами с первого дня приезда не покидало Овсова. Ему ни с кем не хотелось встречаться и особенно неприятно было отвечать на вопросы: «Ну, как на новом месте? Что собираешься делать?.. Почему из города уехал?..» и т. д. Даже с Матвеем, соседом, ему было неудобно и совершенно не о чем говорить.

Василий Ильич поднялся, но Кожин удержал его за полу пиджака.

– Да сиди ты... Успеешь...

Василий Ильич нехотя сел, сорвал травинку, пожевал ее, сплюнул с языка горечь и сказал что-то неопределенное:

– Да, видишь, оно как, а...

– Ты о чем? – Матвей похлопал по коленке фуражкой и, приставив к глазам руку, посмотрел на дорогу. – Конь, что ль, это? Куда его несет?

По дороге, загребая ногами пыль, шел Иван Копылов. Глядя на него, Василий Ильич думал, как метко окрестили человека Конем. Ступал Копылов редко и грузно, на длинной худой шее его, как у лошади, моталась голова. Заметив Матвея с Овсовым, Конь свернул и, сильно сгорбившись, зашагал к ним. Поздоровался молча, крепко, как клещами, сжимая пальцы, затем сел на землю по-турецки и стал закуривать.

– О чем разговор-то?

– Да так... О недостатках наших, – усмехнулся Матвей.

– А-а... Ну и что?

– Матвей Савельич говорит, самый бедный колхоз наш в районе, – сказал Василий Ильич.

– Ничего, вылезем. От нас зависит...

– Трудновато будет, – перебил Матвей Коня. – За что ни возьмись – все плохо. Вот хоть бы скот...

– Со скотом, и верно, жидковато, – сказал Конь. – Пока не приведем в порядок сенокосы и выгоны, не поднять животноводство. Негде скотину пасти. Гоняем изо дня в день по одному месту.

– И сена из года в год не выкашиваем. А раньше оно у нас не поедалось. – Матвей встал, надел фуражку. – Ты, Василий, зря так надрываешься. Лучше сходи в правление, попроси лошадь, – посоветовал он Овсову.

– Успею еще. Пока в охотку, ничего, – улыбнулся Василий Ильич.

– Ну смотри. Усадьбу-то пора пахать.

– Завтра начать думаю, – Василий Ильич замялся, – только вот не знаю, как с семенами быть.

– Сходи к председателю. Даст. Должен дать.

– Думаю, у вас, Матвей Савельич, подзанять картофеля на посадку. Не откажешь?

– Так-так, – и Матвей усмехнулся, – в колхозе не хочешь.

– Да как-то неудобно. Не успел приехать, и сразу давай.

– Ну, как знаешь. Дам семян. А в правление ты сходи, Василий. Председатель вспоминал тебя, – предупредил, уходя, Матвей.

Конь стоял в стороне и, ухмыляясь, поглядывал на Овсова. А когда Кожин ушел, сказал глухим басом:

– А я, как приехал, сразу председателю на горло: дом давай, корову тоже давай... И дал. Вот так-то, Ильич. Деликатны нам не пристало разводить.

– У тебя другое... У тебя семья, детишки. – И, как бы извиняясь, Овсов добавил: – Да что просить – колхоз-то небогат.

Овсов приподнял связку кольев.

– Погодь, Ильич, – остановил его Конь, – просьба к тебе. Печь у меня в водогрейке дымит, да и жар плохо держит. Зашел бы, посмотрел... Ты, говорят, понимаешь в этом деле.

– Чудаки! – И Овсов засмеялся, но, взглянув на хмурое лицо Коня, смутился. – Я на кирпичном заводе работал давно...

– Значит, не можешь?

Овсов еще больше смутился.

– Я не печник... Клал когда-то печки, но разучился.

– А-а! Разучился...

«Дурак», – мысленно обругал себя Василий Ильич и рывком вскинул на спину связку кольев.

Он старался идти медленно, твердо ступать, но ноги не слушались. Они против воли подгибались, семенили. И Василий Ильич не мог понять, что сильнее давит на них и подгоняет: тяжелая связка кольев за спиной или печально-угрюмые глаза Коня.

Дотемна Овсов ставил ограду и, отказавшись от ужина, сразу лег спать.

– Надорвешься сдуру-то, – заметила Марья Антоновна.

– Надо, Марья, надо, – пробормотал муж, засыпая.

На его хлопоты Марья Антоновна смотрела равнодушно:

– Потешится-потешится и бросит.

После того как Матвей, усмехаясь, сказал: «Землянику, Марья, у нас ребяташки в лесу собирают, а в огороде ее разводить – одно баловство», – Овсова решила, что делать в Лука-

шах ей нечего. Теперь она считала себя только дачницей. День за днем она сидела под окном или на крыльце и все больше спала.

Василий Ильич уставал. Но в этой усталости было что-то новое, отличное от прежней жизни... Он словно помолодел.

Однако Василия Ильича все еще не покидало и чувство затаенного страха. Он не решался порвать с городом раз и навсегда.

«Пусть будет само собой, постепенно, – рассуждал Василий Ильич, медля со вступлением в колхоз. – Успею еще подать заявление, это никогда не поздно».

Василий Ильич задумал обзавестись хозяйством, но сделать это без чьей-либо помощи, своими силами, чтобы не быть никому обязанным.

Лошадь – вспахать огород – он решил взять у цыгана Мартына... Мартын жил «на зимних квартирах» – в бесхозной избе в два окна. Стояла изба на отшибе, на глинистом бугре, и продувалась насквозь ветрами. Нижние венцы у нее подгнили, и если бы стены не поддерживались со всех сторон подпорками, изба давно бы рассыпалась.

Мартын готовился в поход. Из рябиновых хлыстов цыган гнул обручи и ставил их на телегу. Около дома цыганка готовила обед. Столом ей служила входная дверь, которая не закрывалась, а ставилась на ночь. Два цыганенка, оборванные, нечесанные, чумазные, играли в чехарду. Они первыми заметили Василия Ильича и, подтянув штаны, подбежали к Овсову.

– Дядь, дай денежку, на животе спляшем! – загалдели цыганята и, не получив согласия, заголосили:

Сковорода, сковорода, сковорода горячая,
Полюбила лейтенанта – дело подходящее!

Потом шлепнулись на землю и, изобразив таким образом танец на животе, вскочили и протянули свои грязные ладошки.

Василий Ильич сунул им двугривенный.

Подошел Мартын – низкорослый цыган с маленькой лохматой головой. Трудно было рассмотреть его лицо, так густо оно обросло. Черные жесткие волосы лезли из шеи, ушей, ноздрей и даже из глаз.

– Я к тебе, Мартын, по делу, – проговорил Овсов, пожимая костлявую руку цыгана, которую тот насильно сунул Василию Ильичу.

Мартын пристально с ног до головы осмотрел Овсова и сказал:

– Коня не дам: кормить коня надо. Скоро в дорогу айда.

– Ну, раз не дашь, то о чем говорить, – обиделся Овсов и повернулся идти.

Мартын схватил его за рукав:

– Стой! Я раздумал. Дам коня. На один день дам.

– Мне больше не надо.

– Эх, голова! Так бы и говорил, на один день. А то – «дай коня».

– Сколько за него? – прямо спросил Овсов.

– Не жалко. Любую половину возьму.

– Какую половину? – удивился Василий Ильич.

– Пятьдесят рублей.

– Да ты спятил, Мартын. С других двадцать пять, а с меня пятьдесят.

– Так я ж тебе дам другого коня; у меня их два, пойдем покажу. – И Мартын потащил Овсова в кусты, росшие за домом. Там паслись две лошади: гладкая кобыла рыжей масти и гнедой мерин, до того тощий, что, казалось, стоит ему надуться, и ребра прорвут кожу. Мерин поднял голову и попытался заржать, но горло его издало только хриплое бульканье.

– Выбирай, – и цыган громко чмокнул. – Вот этот конь – половина, – показал он на кобылицу, – а этот – двадцать пять.

– И этот твой? – усмехнулся Василий Ильич, разглядывая мерина.

– Мой! Подарили. Сказали – бери, Мартын, коня, только шкуру принеси, как подохнет. А зачем подыхать такому коню? Ты посмотри на глаза, – Мартын повернул мерину голову и показал мутные, печальные лошадиные глаза. – А зубы, зубы смотри, – хвастался цыган. – Глянь, глянь на копыта. Таких копыт наищешься, – и Мартын показал копыта.

Пахать на цыганской лошади Василию Ильичу уже не хотелось.

– Ну, какую тебе? – спросил Мартын.

Овсов решил отказаться.

– Вот какой ты непонятливый! – взмахнул руками цыган. – Ну, бери кобылицу.

– Ладно, давай, – согласился Овсов, тяжело вздыхая.

– Эй, оброть! – закричал Мартын.

Прибежал цыганенок с уздой. Мартын поймал кобылицу и подвел ее к Овсову:

– Гроши.

Василий Ильич подал ему деньги. Цыган помял бумажку.

– Добавь.

Овсов пожал плечами: нет, дескать. Мартын прищурился, показывая на левый карман пиджака. Василий Ильич плюнул и в сердцах сунул цыгану пятерку.

В тот же день Василий Ильич вспахал и заборонил полоску, а на следующий – посадил картофель. Теперь Овсов все время проводил на огороде.

– Ты подумай, Маша, – убеждал он жену, – все будет свое: огурцы, капуста, лук, морковь, на будущий год землянику разведем.

– Да не чуди ты, – отмахивалась Марья Антоновна. – Неужели ты думаешь, я здесь до осени буду сидеть и дожидаться твоей капусты?

– А куда же ты денешься?

– Уеду в город.

– Кому ты там нужна? Дочке? Она еще, наверное, не может от радости опомниться, что тебя нет. Будешь, голубушка, здесь жить и в колхозе работать.

– А может быть, я свиначкой знаменитой стану? – ехидно спрашивала Марья Антоновна.

– Со временем, может быть.

– Ох, не смейся, отстань.

Василий Ильич надеялся, что со временем жена привыкнет. Он шел в огород один. Полосл гряды, поливал их, пикировал рассаду, то есть занимался тем делом, каким обычно пренебрегают в деревне мужчины. Иногда и Марья Антоновна появлялась в огороде.

– Физкультурой, что ли, позаниматься? – говорила она, поглаживая бедра, и принималась мизинцем выдавливать ямки на грядках.

– Так, что ль, огурцы сажают?

Покопавшись, Марья Антоновна отряхивала руки и уходила со словами:

– Только перепачкалась с твоими огурцами.

Наблюдая за женой, Василий Ильич недоумевал. Там, в городе, она все лето не вылезала из огорода. А здесь словно ее сглазили.

Пока Овсова не трогали, словно о нем забыли. Но это только казалось ему. В Лукашах про Овсовых ходили самые разноречивые толки. Этого Василий Ильич не знал. Сам он нигде не появлялся, да и его, кроме Матвея, никто не посещал. Сходить в правление колхоза он до сего времени не решился и со дня на день откладывал свидание с председателем.

Как-то в обеденный час Василий Ильич с женой пили чай. За окном послышался громкий разговор. Василий Ильич открыл окно и выглянул на улицу. Там стояли Матвей Кожин

и председатель колхоза в синей выгоревшей майке и сандалиях на босу ногу. Правой рукой Петр держал велосипед, а левой, что-то доказывая, стучал в грудь Матвея. Увидев Василия Ильича, он улыбнулся и торопливо проговорил:

– А вот и он сам. А ну, Василий Ильич, помоги разрешить нам спор.

Глава седьмая

Рядовой колхозник

Председатель ждал, что Овсов придет в правление с заявлением о вступлении в колхоз. Но тот не приходил. А самому навестить Василия Ильича не было времени. Когда пошел слух, что Овсов вспахал огород на цыганской лошади, а картофель на посадку взял у Кожина, председатель обиделся.

– Как ни бедны мы, а здесь-то могли помочь. Что ж это он?..

– Известно – овсовская натура. И батька, Илья, такой же был. Сам просить не будет и в долг, хоть умри, не даст, – говорили колхозники.

Дела в Лукашах, по сравнению с прошлым годом, шли лучше. Да и колхозники глядели веселей. Трудодень окреп, заставил себя уважать. Но Петр не испытывал особой радости. Он видел, что это не его заслуга... Заслуга целиком принадлежала государству, которое снизило налоги и втрое повысило заготовительные цены на лен. А он сделал мало, до смешного мало. Самое большое, чего смог добиться председатель, – это заставить народ поверить в его, председателя, честность. Петр понимал, что на одной честности далеко не уедешь. Пока только лен приносил доход, все остальное – убытки. Петр занялся животноводством. Но что бы он ни предпринимал, ничего не получалось. Скотные дворы развалились. Надо было ставить новые, типовые – на кирпичных столбах. Но как строиться? Во всем районе кирпича днем с огнем не найдешь. Его завозили на станцию поездом и отпускали ограниченно-строго по нарядам.

– Какое головотяпство! – возмущался Петр. – Глину за тридевять земель возить. Вот бы свой заводик иметь да торговать кирпичом. Все колхозы района брали бы его у меня... Это же деньги!

Так возникла мечта о своем кирпичном заводе. Она жгла председателя, ни днем, ни ночью не давала покоя. Еще в годы кооперативного товарищества в Лукашах был построен маленький кирпичный завод. Теперь от него остались развалившийся сушильный навес и печь, которую лукашане потихоньку растаскивали. Петр решил потолковать о заводе с активом. Этот актив никем не выбирался и создавался сам собою, незаметно. Просто-напросто с наступлением длинных зимних вечеров на огонек приходили в правление колхоза люди – посидеть, почитать газету, поговорить о политике. Завсегдатаями были Кожин, Сашок и еще трое молчаливых колхозников. Нередко засиживались до глубокой ночи и так курили, что дверь все время надо было держать открытой.

Душой и организатором этих вечеров был Петр, хотя он этого не замечал и чаще всего оставался только слушателем. Обычно он сидел, навалившись грудью на стол, и, не мигая, смотрел куда-нибудь в угол или на окна. Зато, когда оживлялся, говорил долго и мечтательно. Простоватое лицо председателя – бледное и малокровное, ничем не привлекательное – в эти минуты слегка розовело, а обычно спокойные глаза лихорадочно сияли. Он мечтал. Мечтал вслух до тех пор, пока чей-нибудь голос, тоже задумчивый, не перебивал:

– Мало людей...

И Петр замолкал, а в глаза опять заползала серая тоска.

В тот вечер беседа затянулась. Мужики несколько раз поднимались, потом опять садились, прокурили до петухов, но так и не договорились. Все дружно согласилось, что завод – хорошее дело, но как только Петр ставил, как говорят, вопрос ребром, актив замолкал и усиленно курил. А Кожин высказался прямо и резко:

– Затею с заводом не одобряю. Слишком у нас кишка тонка.

Но Петр не сдался и весной стал действовать на свой риск и страх. После сева наступила передышка. Он решил ею воспользоваться: создать бригаду и начать ремонт завода. Бригадиром думал поставить Овсова.

– Самое подходящее место ему... – рассуждал Петр.

Вместе с Матвеем они пошли к Овсову на переговоры...

– Спор интересный, – подмигнул Овсову Петр, – хочу выиграть пари. Спорим, Матвей Савельич.

– Кто спорит, тот гроша не стоит, – веско заметил Матвей. – Не под силу нам завод... Маловато людишек у нас.

– Ничего, хватит.

– «Хватит»! Каков хват, – покачал головой Кожин и плюнул на рыжий носок своего кирзового сапога.

– Все равно надо попробовать. А ты как думаешь, Василий Ильич, можно восстановить завод?

– Какой завод? – недоумевая, переспросил Овсов.

– Да кирпичный, тот, что на Лому, – и, не получив ответа, Петр решительно заявил: – Вот что, пойдемте посмотрим, пошевелим мозгами на месте.

Прогулка на завод, который находился в двух километрах от Лукашей, была не ко времени: Василий Ильич собирался сразу же после обеда заняться починкой крыши над хлевом. Отказаться он тоже не решался и, промолчав, переминаясь с ноги на ногу, поглядывал на Кожина.

– Ладно, пойдем посмотрим, – согласился Матвей. – Идем, Василий, чего там.

Идя Зарекой, мимо нового, с затекшими смолой бревнами дома Сашка, они увидели торчащую из окна розовую лысину хозяина.

– Эй, куда? – окликнул их Сашок.

– На Лом, завод смотреть. Давай с нами, Масленкин, – пригласил его Петр.

Они вышли за деревню, спустились в низину и зашагали напрямик по густой траве заливного луга. Перепрыгивая с камня на камень, перебрались на противоположный, обрывистый берег реки. Раздвигая частый ольшаник, они вышли к скотному двору. Это был длинный, с темными горбатыми стенами сарай. Петр остановился и ткнул в сторону сарая пальцем.

– Новый строить надо. А где взять кирпич на столбы? Без кирпича нам нельзя, Матвей Савельич.

– Разве я против завода, – обиделся Кожин, – я говорю: не под силу нам.

– Попытка не убыток, Савельич, – поддержал председателя Сашок и, приложив к козырьку руку, проговорил: – Глянь, на водогрейке Конь сидит.

Водогрейка – бревенчатый домишко, до трубы которого можно было дотянуться рукой, – стояла, приткнувшись к березе. Поперек крыши лежал человек, держась за конек; ноги у него болтались над землей.

– Эй, чего ты там? – окликнул Сашок.

Конь оглянулся и, прыгнув с крыши, догнал мужиков.

– Куда?

– На Лом, завод смотреть. Фаддеич хочет пустить его, – сообщил Сашок.

– Чем ты там на крыше занимался? – спросил Петр.

Конь вынул из кармана кисет и, держа в зубах клочок газеты, ухмыльнулся:

– Солнце вручную подтягивал.

– Я о деле, – обрезал Петр.

– Можно и о деле, – сквозь зубы процедил Конь. – Колхозные плотники на стороне шабашат. Вот и приходится самому крышу штопать. – Конь чиркнул спичкой и, хватив зеле-

ного самосаду, чуть не задохнулся. Откашлявшись и смахнув с глаз слезы, он уже спокойно добавил: – С заводом ты правильно, председатель, решил.

Петр покосился на Кожина.

– А Матвей Савельич не верит в мою затею.

– Он может не верить. Савельич сотенки четыре кирпичиков припрятал и молчит.

– А ты уже высмотрел, – прошипел Матвей.

– Я под чужие подолы не заглядываю, потому как в годах, да и времени нет. А на днях собрался в печке под поправить, так ноги обил, пока нашел с десяток половинок; несу я их, а навстречу твой внук, и хвастается: «У нас в сарае во какая куча кирпичей!» Вот так-то, Савельич, – протянул Конь.

Серая, покрытая теплой, как зола, пылью, дорога вела вдоль Холхольни. По берегам ее стеной засел бредняк с ольшаником. А на той стороне тянулся яркий желто-лиловый луг с темными кучами ив. Он цвел вовсю. Справа лежали поля. На светло-зеленую покатуку плоскость падали длинные тени стоящих у дороги берез.

Петр, взъерошив волосы, улыбаясь, долго смотрел на жидкую, низкорослую пшеницу.

– Неважная пшеничка, – заметил Сашок. – Самдруг вряд ли соберешь.

– А знаете, я о чем мыслю? – проговорил Петр. – Сад здесь разбить. Склон к югу, с востока и севера лес... Обязательно заведем сад. Вот так, рядами, пойдут яблони, хороших посадим яблонь. С боков вишни... Низ засадим крыжовником, черной смородиной.

От удовольствия Сашок громко чмокнул.

Петр засмеялся и хлопнул его по плечу.

– А тебя, Масленкин, садоводом назначим.

– Эх, фруктов, Фаддеич, у нас будет... Завалю!

Всем стало весело, даже Конь ухмыльнулся, толкнул локтем председателя:

– А меня сторожем, Фаддеич, – и громко захохотал.

Матвей стянул с головы фуражку и, поколотив ее о коленку, сказал:

– Народишку бы нам побольше... Тогда бы сад здесь был... Да...

Над лесом гудел самолет, разрисовывая небо белыми кругами.

– Смотри, какие кренделя выкручивает. Зачем это он? – спросил Сашок.

– Воевать учиться, – коротко пояснил Конь.

Матвей тяжело вздохнул:

– Будет война или нет – черт ее знает. А то ведь прилетит, ахнет бомбу...

Василия Ильича давно подмывало высказаться.

– Я думаю, во всем виновата техника и учение, – начал он, но в чем виноваты техника и учение, так и не смог объяснить.

Петр взглянул на Овсова, усмехнулся и, достав портсигар, стал закуривать. Молчание прервал Сашок:

– В прошлом году у нас лекцию делал лейтенантик из военкомата. Он говорил, что атомную бомбу бояться нечего. На каждую бомбу и своя в ответ найдется.

– Да какая может быть война, если ее никто на белом свете не хочет, – искренне возмутился Матвей.

– Кое-кто хочет, – задумчиво заключил Петр.

Войдя в лес, они свернули на тропинку и, продравшись сквозь цепкий ельник, вышли на место. От завода осталась печь для обжига кирпича, стропила от сушильного шатра и несколько ям с зеленоватой водой. В одной из ям торчал вверх лопастями глиномяльный вал. Больше всего Петра беспокоила печь. Задняя стена у нее была наполовину разобрана.

– Твоя работа, Савельич, – ухмыльнулся Конь.

Матвей Кожин взглянул на Масленкина:

– Да чего греха таить... Сашок. Бывали мы здесь.

Осмотрев печь и посоветовавшись, решили восстановить завод. Петр при поддержке Коня и Сашка велел Кожину вернуть кирпич на заделку стены.

– Первое время глину помнем ногами, лошадьми. Нам надо начать. Сделать хотя бы тысячу пять на столбы, – рассуждал Конь. – Вот кто бы формы взялся изготовить? Как ты на это смотришь, Матвей Савельич?

Кожин согнулся и, ковыряя каблуком обломок кирпича, зло, из-под нависших бровей, взглянул на Коня.

– Сделаю и формы. Матвей все может: и кирпич дать, и формы сделать.

– Завод будем налаживать. А вот кому поручить это дело? – Петр посмотрел на Овсова. – Как ты думаешь, Василий Ильич?

Овсов недовольно передернул плечами.

– А что я?

– Дадим тебе людей, и, засучив рукава, с богом.

Василий Ильич промолчал.

– Я тоже так считаю. Лучше Овсова нам сюда не подобрать. С кирпичным делом знаком. Работал когда-то. Ему и карты в руки, – подтвердил Конь.

Домой мужики шли молча. Петр мысленно подбирал людей в бригаду Овсова. Конь про себя ругал доярок, сквасивших молоко. Матвей раздумывал, как бы ему за кирпич выпросить у председателя лесу на потолок в баню. Но больше всех был озабочен Овсов. Он шел, часто спотыкаясь, и Сашку приходилось то и дело поддерживать его, чтобы он не свалился в канаву. Предложение Трофимова не только мешало замыслам, но вообще было противно его натуре. И дорогой, и там, на Лому, Василий Ильич мыслями был в огороде, среди огуречных гряд.

Марья Антоновна уже давно спала, а он все обдумывал и подбирал причину отказа, сидел, сгорбясь над листком бумаги, обмакивал перо в чернильный шкалик, но перо сохло, повиснув над строчкой. Лампа чадила, и приходилось все подкручивать и подкручивать фитиль. Сильно пахло керосином и жженой тряпкой. Проснувшись, Марья Антоновна долго протирала кулаком глаза, а потом сипло проговорила:

– Не видишь, что керосина в лампе нет? Господи, за что я терплю муки? – и закуталась с головой в одеяло.

– А, что будет, то будет, – решил Василий Ильич и прямыми, как частокол, буквами написал:

«В правление колхоза «Вперед». Прошу принять меня в колхоз в качестве рядового колхозника».

Под словом «рядового» он провел жирную лиловую черту.

Рано утром Василий Ильич явился в правление колхоза. Кроме председателя и счетовода Сергея, там были Арсений Журка с приятелем. Арсений, отставя в сторону ногу и мусоля папироску, щурясь, смотрел на председателя. Василий Ильич незаметно присел на кончик скамьи.

– Так, – мрачно глядя на Журку, произнес Петр, – какую же вам справку?

Журка вытянул губы:

– Обыкновенную. Мы ее можем сами сочинить, а вам только подмахнуть и печатью хлопнуть. Вон Генька мастер писать: десятилетку кончил. Давай, Генька!

Рыжий, заляпанный веснушками Генька покосился на председателя, потом, изгибаясь, словно резиновый, подошел к счетоводу.

– Пошел прочь, – оттолкнул его Сергей.

– Дай ему бумаги, пусть пишет, – разрешил Петр.

Генька быстро накатал справку.

– Вот, Петр Фаддеич. Справка законная. Абара их не глядя подписывал.

– «Справка дана А. Журке и Г. Шмырову в том, что они действительно являются членами колхоза «Вперед» и что правление колхоза не возражает им работать на стороне», – прочитал вслух Петр. – Куда же собираетесь?

Журка подмигнул:

– К соседям, в «Зарю», свиарник рубить.

– Хорошо ли подрядились?

– Да ничего. Тысчонка верная.

– Неплохо. – И Петр, смяв справку, бросил ее под стол. – Вот так, друзья. Плотники и нам нужны. Кирпичный завод пойдемте строить.

Журка пощелкал пальцами.

– А тити-мити? Сразу или в конце года?

– За трудодни.

– За трудодни? – удивился Журка. – Слышишь, Генька? За трудодни, говорит председатель. – И они захохотали.

Петр отвернулся к шкафу и стал перебирать папки. Журка, видя, что председатель не обращает на них внимания, вынул изо рта папироску, придавил ее к подоконнику и, сморщась, жалобно протянул:

– Петр Фаддеич, дайте справку.

– А кто у меня работать будет?

– Вы тоже наймите плотников.

– Вот как! Где? Может быть, подскажешь?

– Да у них, в «Заре».

Петр даже присел.

– Это как же так? Наши плотники у них будут работать, а ихние – у нас?

– Все время так делается. Как будто вы не знаете? – усмехнулся Генька. – Вы думаете, за трудодни будут работать? Пожалуй, дожدهшься.

– Будут, – резко оборвал его Петр, – и вы будете.

Журка с Генькой переглянулись.

– А не пойдете – под суд отдам...

Глаза у Журки сузились.

– Ты не пугай! Знаем законы.

– Я не пугаю, а предупреждаю, – и Петр постучал карандашом. – Если вы сегодня же не отдадите старику Екиму деньги...

Журка дернулся и угрожающе шагнул к столу.

– Деньги, которые ты у него украл, – спокойно договорил Петр.

– Неправда!

– Есть свидетели. Вот заявление, – и Петр показал измятый тетрадный листок.

Журка медленно повернулся и, шаркая, пошел к двери. За ним боком, часто оглядываясь, выскользнул Генька.

– Боятся все и молчат, – сказал счетовод.

– Я не буду молчать. Вот посмотрю, что дальше с ними будет, – говорил Петр, нервно открывая ящики стола.

Счетовод собрал бумаги, закрыл на замок железный сундук и выразительно посмотрел на председателя.

– Иди завтракай, – устало кивнул ему Петр и, опустившись на стул, закрыл руками лицо.

Василий Ильич подвинул к столу табуретку.

– Хоть караул кричи, Василий Ильич, – пожаловался Петр.

– Трудно, – согласился Овсов.

– Другой раз так подкатит – на свет глядеть тошно. А потом ничего, отойдет. Промелькнет что-нибудь хорошее, и опять жить хочется. Вчера на Лому как увидел, что печь-то легко исправить, захотелось «ура» кричать. А сегодня стал с людьми беседовать – не хотят завод восстанавливать... Говорят: мы лучше траву пойдем косить.

– Да, да, понимаю, – стараясь не глядеть на председателя, буркнул Василий Ильич.

– Ты не можешь себе представить, Василий Ильич, как обрадовал меня твой приезд. Я ведь письма писал, многих звал. Сколько домов стоит заколоченных! А ты сам приехал...

Василий Ильич заметил, как заблестели глаза председателя, словно их омыли, и, не в силах выдержать взгляда этих глаз, опустил голову.

– Конечно, люди в колхозе нужны.

– Да я не требую сотни, – с укором подхватил Петр, – дайте двадцать-тридцать человек – и все пойдет. Мне нужен актив. Опереться мне не на кого. У нас ведь и партийной организации нет. Спасибо Копылову с Сашком – поддерживают они. Вот твой сосед Матвей Кожин, умный, хозяйственный мужик, тоже мечтает о хорошем колхозе; мечтать-то мечтает, а больше думает о своей усадьбе...

Чем больше говорил председатель, тем страшнее становилось Овсову, он боялся поднять голову и прямо взглянуть ему в лицо.

– Поддержи ты мои надежды, Василий Ильич.

Овсов торопливо вынул заявление.

– Пока один.

– Воюет Антоновна? – засмеялся Петр. – Ладно, нам не к спеху. Пусть привыкнет.

Василий Ильич хотел сказать, что с женой гиблое дело, но сказал что-то невнятное:

– Да кто ее знает. Оно, конечно, так.

Петр, не читая, сунул заявление в папку и положил на стол портсигар. Василий Ильич, наблюдая, как председатель выбирает папироску, ждал другого разговора. Он не сомневался, что его не миновать. Петр, чиркая спичкой, казалось, совсем безразлично спросил:

– С заводом-то как, решил?

– Я, Петр Фаддеич, – начал Овсов, – много думал вчера, да и раньше... – Василий Ильич замолк, поскреб стол ногтем.

– Ну и что же? – Петр, навалиясь на стол грудью, пристально посмотрел на Овсова.

– Не могу, нет моего согласия, – Василий Ильич сразу почувствовал, как тяжело было это сказать и как легко стало, когда он уже сказал, только на какой-то миг стыд уколол уши. Но он, осмелев, договорил: – Я не затем сюда ехал, то есть я ехал в колхоз, а не на производство, то есть хотел работать в поле... Вы, Петр Фаддеич, должны понять меня.

– Не понимаю, Василий Ильич, не понимаю, – искренне признался председатель.

– Я хочу быть рядовым колхозником.

– Ну хорошо, завод не хочешь; а если мы тебя в кузницу пошлем?

– Нет-нет, – запротестовал Овсов, – только рядовым.

– Да каким же рядовым ты хочешь быть? – воскликнул Петр и, вскочив, подошел к Овсову. – Василий Ильич, ну что такое рядовой колхозник, что он делает?

– Да мало ли в колхозе разных работ: косить, хлеб убирать, сено вязать, риги топить... – начал перечислять Овсов.

– Эх, Василий Ильич, Василий Ильич, – остановил его Петр, – «риги топить»! Да у нас ни одной риги не осталось. А колхозники уже и снопы вязать разучились. Все делают машины; сеют и убирают...

– Вот из-за этих машин колхозники и сидят на граммах.

– А если бы машин не было – тогда что?

Овсов не ответил.

– Тогда бы, Василий Ильич, – продолжал Петр, – мы и граммов не получали. Только зерновых у нас двести гектаров. Не уберет комбайн – все сгниет на корню.

Василий Ильич, не слушая, смотрел в окно. По раме металась пчела... Форточка была открыта, но пчела, добираясь до нее, поворачивала обратно, жужжала, билась о стекло. Василий Ильич подошел к окну, чтобы выпустить пчелу.

– Гвоздями рама забита, – пояснил Петр, когда Овсов попытался открыть окно.

– Надо бы починить, – заметил Василий Ильич и почувствовал, что сказал это совершенно зря.

Он стоял у окна и с тоской думал, что сейчас председатель опять станет убеждать его.

«А ведь я могу сторожем быть или коней пасти. Ночь пропас – и весь день дома». Василий Ильич вспомнил, как жаловался старик Кожин, что кони шлятся без надзора. Должность конного пастуха представилась ему настолько желанной, что он первым заговорил.

– Конюх тоже нужен, – согласился Петр, – только не этого я от тебя хотел, Василий Ильич.

Идя домой, Овсов размышлял: «Нелегко председателю, ох как нелегко! А человек он хороший. Разрешил еще недельку отдохнуть, привести хозяйство в порядок. Корову обещал». Он вспомнил, как Трофимов, схватив его за руку, воскликнул: «Ты знаешь, Овсов, как я хочу наладить дело! Становись на мое место, председателем, я тебе изо всех сил помогать буду».

Василий Ильич добродушно рассмеялся:

– Председателем... Эх, чудака Пека...

Глава восьмая

О воспитании и еще кое о чем

До сенокоса Петр с грехом пополам сколотил ремонтную бригаду во главе с Копыловым. В нее вошли: Абарин, Афанасий Воронин, а потом Журка. Абарин после разжалования заткнул топор за пояс и отправился, как здесь говорят, волчить. С год он болтался, сшибая случайные подряды, а потом неожиданно угодил под суд, по словам самого Лёхи – «за чепуху»: в одном селе снял с забора сушившиеся брюки без разрешения хозяина. Лёху приговорили к исправительно-трудовым работам.

Афанасий Воронин вошел в бригаду, потому что так велел председатель. С малолетства он был приучен слушаться старших. Журка же после одного случая неожиданно притих.

Случилось это так.

С уходом Коня на строительство завода Петр долго не мог найти ему замену. С кем бы он ни говорил, ответ был один и тот же: «Хлопотно, не смогу... Надо забросить свое хозяйство...»

Как-то Петр встретился с Ульяной Котовой и, не подумав, предложил ей заведовать скотным двором. Ульяна покраснела и, теребя на груди кофточку, прошептала:

– Я не против, как прикажете... – а потом, блеснув глазами, погрозила пальцем: – Только, чур, помогать, председатель.

Петр сгоряча согласился, а позже горько каялся...

Ульяна взялась за дело даже слишком рьяно. Она по пятам ходила за председателем, использовала любой предлог, чтобы поговорить с глазу на глаз. Утром она встречала Петра на дороге в поле; часами просиживала в правлении, дожидаясь, когда он останется один; вечером осаждала на дому. Она завела блокнотик с карандашом и чиркала в нем что-то, когда председатель давал указания. Но больше она смотрела на Петра туманными, влажными глазами, а слова, казалось, ловила ртом, и так жадно, что блокнот с карандашом то и дело падал на пол. Но как бы Ульяна ни старалась, ей не везло. Месячный запас отрубей был скормлен за неделю, два раза Еким привозил назад с маслозавода сквашенное молоко, а племенной жеребец, стоявший в конюшне на привязи, за одну ночь съел новые осиночные ясли. Все-таки настойчивости Ульяны даже Петр завидовал. Она замотала председателя с кормокухней, и он сам был вынужден искать печников, чтобы переложить там плитку. Взялись за это дело Журка и его дружок Генька Шмыров.

– Будет плита, – заверил Арсений. – Только деньги на бочку – и никаких трудодней.

Надо отдать должное Журке: парень он был, как говорят, от скуки на все руки. За любое дело брался, не оглядываясь, и все у него выходило, в общем, гладко. Но тут он сорвался...

Через два дня Петр мимоходом завернул к кормокухне. Работа там шла ходко. Оставалось только поправить трубу. Журка стоял на крыше и принимал от Геньки ведро с глиной.

– Как дела, орлы? – крикнул Петр.

– Порядок, председатель, скоро кончим.

– Молодцы!

– Если мы не молодцы, тогда и свинья не красавица, – добавил Арсений и спрыгнул на землю.

– Ну что ж... показывай.

– Будьте любезны. – Журка ногой распахнул дверь в кормокухню.

Петр, согнувшись, шагнул через порог. В нос ударил запах кислого картофеля и тухлых бочек. Занимая половину кормокухни, стояла добротная плита. Она была гладко вымазана глиной и разрисована квадратами со звездами. Стояк от плиты до потолка тоже был заляпан звездами.

– Это совершенно ни к чему, – заметил Петр.

– Генька постарался. Он у нас десятилетку кончил.

Генька, очевидно, смутился: что-то пробормотал непонятное и плюнул в кадку с водой.

Петр осмотрел посадку котлов, заглянул в топку, потрогал там колосник, проверил дымоход, дверцы, выюшки и остался доволен.

– Работа первый сорт, – похвастался Журка.

Петр мельком взглянул на потолок и удивился: темный от копоти потолок из тонких, кое-как поскобленных топором бревен прогнулся и горбом повис над плитой. Два бревна, выскочив из паза, уперлись в стену. Петр топнул – бревна закачались, из щелей посыпался мусор.

– Рухнет, а? Людей задавит, а?

Журка отвернулся и равнодушно пожал плечами. Петр выскочил в сенную пристройку, поставил к стене бочку, поднялся наверх... И все понял: громоздкий дымоход, боров, был сложен прямо на потолке и тяжестью своей продавил его.

– Журка?!

Тот, заложив руки в карманы парусиновых штанов, стоял в дверях.

– Ты почему так, а?... Почему без стеллажа?

– О стеллаже у нас разговора не было.

– А-а-а... Разговора не было? – Петр так сжал челюсти, что они онемели, и вдруг крикнул неприятным, тонким голосом: – Идем со мной!

Арсений опять пожал плечами.

– Куда? Зачем?

– Идем!

Петр схватил Журку за рукав, выволок на улицу и, толкая в спину, повел к реке. Журка шел ровным широким шагом, втягивая голову в плечи при каждом толчке. Но когда их скрыли кусты, остановился и спокойно спросил:

– Бить будешь?

Петр подскочил к нему, но Арсений неожиданно мотнул головой, и кулак Петра скользнул по затылку. Удар был сильный и неловкий; Петру показалось, что не он ударил, а его схватили по руке выше кисти.

Ему было стыдно и гадко. Он отошел в сторону, сел на камень, вынул портсигар. Пальцы тряслись и не могли поймать папироску. Потом он, не глядя, швырнул Журке портсигар и коробку спичек.

Журка лежал на животе, глубокими затяжками хватал дым и выпускал его через ноздри в рукав куртки. Петр курил частыми, мелкими глотками и поглаживал ушибленную руку.

– Больно?... – посочувствовал Журка.

Петр выругался.

– Не умеешь ты, председатель, драться. Кто же так бьет? Без руки можно остаться. Треснет она, как палка... Надо бить вот чем, – Журка, сжав кулак, показал костяшки согнутых пальцев. – Я одному фрею прошлый год врезал – метров двадцать летел по воздуху.

Петр пошевелил рукой – из глаз покатались золотые кольца.

– Черт... Все хуже и хуже...

Журка выплюнул окурок.

– Интересно, как ты будешь отвечать, когда спросят, что с рукой? Скажешь: дрова рубил, полено отскочило и – по руке. Так? – Журка вздохнул. – Фонарь под глазом или шишка на лбу – во всем всегда виноваты топор с поленом... Нечестные люди...

– Я знаю, что сказать, – оборвал его Петр.

– Правду не скажешь.

– Ты думаешь?

– По глазам вижу. Да и неудобно председателю воспитывать людей таким способом. Журка все еще лежал на животе и исподлобья следил за председателем. Петр опять закурил.

– А почему не сопротивлялся? – спросил он.

– Не хотел.

– Странно...

– Срок не хотел получить.

Петр замялся.

– Я тоже ведь не очень любезен был...

– Тебе-то что. Сам прокурором был, законы знаешь... А за меня кто заступится?

Губы у Арсения слегка улыбались, а из-под густых, сросшихся у переносицы бровей тоскливо смотрели глаза. Петр не вынес этого взгляда и отвернулся. Никогда он не был в таком дурацком положении. Он пытался вызвать Журку на откровенный разговор. Но вопросы задавал совершенно не те, и они отскакивали от парня, как искры от кремня.

– Не пойму тебя, Арсений... Парень ты неглупый, а какую о себе славу пустил... Почему?

– Скучно мне.

– Я и то удивляюсь. Как ты не уехал из Лукашей? Все твои сверстники разбежались.

Журка грустно усмехнулся.

– От кого ехать? От матери-старухи? Уедешь – воды не подадут напиться.

Петр, совершенно непонятно для себя, каким-то делано веселым голосом сказал:

– Вот чудак, женись... Девочек у нас много. Тогда скучать некогда будет. Вот, к примеру, Ульяна Котова...

– Это мое дело, – грубо отрезал Журка, вскочил на ноги, потянулся и пошел, громко насвистывая.

«Что с ним? Ударил я его – не обиделся, а тут... Из-за чего?» – спросил себя председатель и погладил руку.

Ночью рука не дала ему спать, а к утру посинела и распухла. Петр, как бревно, повесил ее на платок. На вопросы любопытных отвечал, что упал с велосипеда. И все верили, кроме Геньки Шмырова; когда они с Арсением перекладывали боров на стеллаж, тот заметил, что дружок слишком часто потирал стриженный затылок.

Через несколько дней Журка взял топор и пошел строить завод. Петр же к этому времени опять вернул Копылова на скотный двор, на место Ульяны.

...Как ни хотелось председателю обойтись без наемной силы, а нанимать пришлось. На станции, в столовой, он встретил интересного, на редкость крепкого старика. Оказалось, что старик хорошо знал кирпичное производство. Петр обрадовался, поставил пол-литра и завел разговор о своем заводе. Старик повеселел, назвался Максимом Хмелевым и повел себя как тертый дипломат.

– Если оно так разобратся, то и поработать можно. А если посмотреть с другой стороны – рискованное дело, – рассуждал он.

А когда Петр добавил три бутылки пива, Максим выдвинул свои условия.

– Будем рядиться, хозяин, – сказал он и загнул палец. – Оклад восемьсот рублей. Новые штаны и рубаха по окончании работы – не в счет... На день: крынка молока, кило хлеба, а картофель и суп само собой... Теплый угол, потому как у меня ревматизма. И рукавицы тоже твои... Ну вот и все, – Максим с сожалением посмотрел на свои руки: на левой оставался незагнутым один мизинец.

Правленцы упорно не хотели утвердить договор: слишком уж дорогим показался мастер, да и в дело они не очень верили... Но Петр пошел напролом и заявил: или будет в

колхозе завод, или он, Петр, уйдет из правления. Правленцы переглянулись, помолчали и сдались.

Мастер прибыл в Лукаши с топором за поясом, с пилой под мышкой, а в руках у него был окованный железом сундучок. Петр отвел его на квартиру к Корниловой Татьяне. Та пристально посмотрела на постояльца и тяжело вздохнула:

– Ты бы мне его насовсем подарил... Какой бравый молодец, и рожа красная.

Максим кругом, как башню, обошел Татьяну и сказал:

– Хороша! И спереди, и сзади... Вот только рябая, как решето.

– А что тебе моя морда?.. Нешто на ней будешь узоры наводить? – спросила Татьяна, хихикнула, схватила самовар и потащила в сени.

На этот раз Петр не ошибся. Мастер был хоть куда! Он, видимо, умел и любил работать. Не прошло и недели, как на Лому встали новые столбы сушильного сарая и уже начали наводить стропила. Надо было заботиться о кровле... Чем крыть?

Петр мучительно размышлял об этом. А Максим решил вопрос неожиданно просто и быстро. Он заметил в колхозе старую льномялку, у которой сохранился конный привод, и приспособил его для дранкодирного станка. Матвей в кузнице выковал щепальный нож по чертежу Максима, нарисованному прямо на земле. И когда Максим снял с еловой чурки гибкий, пахнувший смолой лист дранки и подал его председателю, тот подумал: «А работника я все-таки недорого купил».

...Но кончилась передышка. Наступал сенокос.

Глава девятая

Покос на Алешках

Как-то Василию Ильичу взбрело в голову сходить на болото пострелять дупелей.

Возвращаясь с охоты, он еле волочил тяжелые кирзовые сапоги, в которых звучно чавкала портянка. Был тихий послеполуденный час июльского дня. Солнце, заваливаясь за край облака, разбросало по небу белые ровные полосы. Потянуло холодком. Стряхнув истому, природа оживилась. По макушкам тополей пробежал ветерок, трава, до этого серая, унылая, потемнела и закачалась. Неожиданно к монотонному пению полевых сверчков присоединился звонкий отрывистый звук, как будто кто-то дергал струну и сразу же зажимал ее пальцем. Звук неся от дома Кожиных. Овсов прислушался, снял с плеча сетку, в которой болтался убитый дупель, повертел ее в раздумье, потом толкнул калитку и прошел во двор Кожиных. Под низким соломенным навесом Матвей отбивал косу. Василий Ильич поздоровался и присел на березовый чурбан. Матвей покосился на сетку.

– Птах стреляешь...

Кожин снял очки в железной оправе, протер их, надел и опять застучал молотком. Но, видно, зрение изменяло Матвею. Молоток чаще попадал по бабке, чем по косе.

– Дай-ка попробую, – предложил Овсов.

– Ишь ты, не забыл, – ухмыльнулся Матвей, когда молоток в руках соседа начал отбивать чистую отрывистую дробь.

– Что ж, Матвей Савельич, и косу не забываете при нынешней технике, – усмехнулся Овсов.

– Не забудешь. Покосы-то как заросли. Ты посчитай – пятнадцать лет их не чистили. А помнишь, какие покосы были на Алешках? Заросли, страх как заросли. Вот председатель посылает туда бригаду по кустам косить.

– И много едет?

– Сказывала невестка – человек двенадцать.

– Что ж, и вас посылают?

– Где уж мне, Клаву отправляем...

– А что, Матвей Савельич, у вас еще коса найдется?

Кожин, охая, поднялся и, поддерживая руками поясницу, поплелся в сарайчик. Вернулся он с широкой, круто загнутой косой; поднял клочок сухой травы, стер с косы хлопья ржавчины и подал Овсову.

– А ну, попробуй, как она.

Василий Ильич отошел к тыну, где росла жирная крапива, и сплеча смахнул ее.

– Ничего.

– Огонь, а не коса. Я за нее в голодное время пуд муки дал. Правда, немного тяжеловата.

Овсову захотелось поехать на сенокос. Придя домой, он стал собираться – слазил на чердак, разыскал брусницу с брусом...

Пустошь Алешки издавна славилась своими заливными лугами. Километра на три протянулась она вдоль левого берега реки Шумы. Правый берег – высокий и лесистый, молодой ельник подступает к воде. Но недолго выстаивают здесь деревья. Песок не выдерживает их тяжести, и они сползают или с маху опрокидываются в Шуму; посмотришь – то здесь, то там торчит над водой спутанный почерневший клубок корней. Когда-то этими покосами совместно владели алешкинские и лукашевские мужики. Обычно перед Ивановым днем сюда сходились с обеих деревень. Лукашане, как дальние, приезжали на лошадях и располагались лагерем. Луг разбивали на полосы, потом делили по жребью. После коллективизации пустошь отошла к алешкинцам. Сена здесь накашивали столько, что с избытком хватало и

себе, и на продажу. Во время войны Алешки сгорели дотла. Жители разбрелись по соседним деревням, а на месте Алешек теперь растет высокий бурьян. Луг сплошь затянуло кривоногим ольшаником. В иных местах он так густ, что не проберешься. Среди кустов встречаются небольшие поляны, поросшие сивым мятликом, мышиным горошком и диким клевером. Трава здесь лопушистая, с густым подсадом.

К удивлению Василия Ильича, бригадиром косцов председатель назначил Клаву Кожину. Бригаду она разбила по звеньям. В одно звено с Овсовым попали Конь, Сашок и Еким Шилов – слезливый набожный старичок, мастер навивать стога.

Построив шалаш, мужики сидели, изредка перебрасываясь словами. Вечерело. Набожный Еким, шурясь на низкое солнце, вздыхал:

– Эка благодать, господи.

Его рябое, как вафля, лицо, притягивая лучи заходящего солнца, светилось от умиления. И правда, было удивительно хорошо в вечерний час на Алешкинской пустоши. По плоским макушкам ольх и осин солнце стелило мягкий розовый свет, и они пылали, как осенью. В траве, где лежали длинные оранжевые тени, уже искрились первые капли росы. А под кустами сгущались сумерки: гасли лиловые колокольчики, ромашка сворачивала свои нарядные шляпки, и уже совсем потемнели глянцевиные листья конского щавеля. От реки, клубясь и цепляясь за сучья, напел туман.

Крикливый дрозд внезапно смолк. В небе еще звенел жаворонок; он долго висел на одном месте, как будто провожал на ночлег солнце, и едва солнце вобрало свой последний луч, жаворонок камнем упал в густую траву... На минуту все замерло. И вдруг с пронзительным писком поднялся чибис, описал над лугом круг и с криком «иви», «иви», скользя по макушкам кустов, пронесся и скрылся за рекой. Опять стало тихо. А потом все зазвенело. Кузнечики, полевые стрекачи завели ночной концерт. К ним присоединился дергач и затянул свое бесконечное «дра-дра».

Ваня Конь докурив сигарку, сплюнул крошки самосада и спросил, обращаясь не то к Сашку, не то к Овсову:

– Не слыхал, скоро ли народ из города в деревню двинут?

– Что, говоришь, вынут? – замигал Еким и подставил к уху ладонь.

– Я спрашиваю, когда народ из города в деревню погонят? – мрачно пояснил Конь.

Еким погладил плешь и захихикал:

– Ты, Ваня, чего это? Разве человека можно гнать? Человек сам по себе живет, как птица, по-божьи. Вот ты не захотел в городе жить – приехал в деревню и живи.

– Ты, божий человек, не ставь меня в пример. Я сам уехал. Надоело мне там по обществам болтаться.

– Вряд ли сами-то поедут. Вот если правительство поднажмет, тогда – да, – проговорил Сашок.

– Правительство само собой... Оно знает, что делает... А вот дай в колхозе на трудодень рублей по пятнадцать – сам народ побежит. Проситься будут.

– Ясно дело, побежит, – согласился Сашок. – Вот всех бы вернуть, кто уехал... Сколько в Лукашах народу было...

– Всех не вернуть. Половину бы хотя, – отозвался Конь.

Василия Ильича так и подмывало сказать, что вот он тоже сам приехал в колхоз, никто его не гнал, но, взглянув на мрачное лицо Коня, промолчал.

После ужина Конь, натянув на голову фуфайку от комаров, лег и сразу захрапел. Овсову спать не хотелось. Собираясь на сенокос, он думал о душевных разговорах у огня, о песнях. Нет, нет, не так представлял все это Овсов... Он долго лежал, привалившись к шалашу. Далеко за лесом поднималась луна – белая, холодная, как ком снега.

Пришел Сашок, сел рядом, поежился, постучал каблуком о каблук.

– Не спишь, Ильич? – потом зевнул и на корточках заполз в шалаш.

Забылся Василий Ильич под утро, когда на бледном небе терялись звезды.

Овсова разбудили крики людей и лязг кос. Висел плотный сизый туман. Река словно кипела – над водой кривыми столбами поднимался пар, и сквозь него тускло светилось плоское солнце. Копылов уже запрягал лошадей в лобогрейку.

– Тпру, стой, но, но, не балуй... Дай ногу! Ногу дай, дура! – ругал он молодую кобылицу.

В синем берете, из-под которого торчали влажные завитки волос, появилась Клава Кожина.

– Собирайся, мужики, начинать пора! – весело крикнула она и опять пропала в тумане.

Сашок туго затянул ремень на пиджаке и принялся точить косу. Василий Ильич переобулся, прикрепил к поясу брусницу. Ему досталось косить в паре с Сашком.

Коса нырнула с легким свистом, и, словно сбритая, легла трава, а пятка косы отбросила ее в сторону. Еще взмах, еще взмах, еще, еще. Василий Ильич оглянулся – за ним вытягивался ровный желтоватый прокос. Овсов глубоко вздохнул и почувствовал, как легко дышится и как что-то давно забытое, волнующее просыпается в нем... Косилось спорко. Роса лежала обильная, и коса без усилий срезала высокую, подернутую редющим туманом траву. Впереди, размеренно махая косой, шел Сашок. И Василий Ильич с завистью отметил, что хотя он и не отставал от Сашка, но прокос у того был шире и чище. «Взи, взи», – пела под металлом трава и, обнажив желто-зеленые стебли, ложилась ровными рядами.

Пройдя метров тридцать, Сашок остановился и четырьмя взмахами узкого бруска поправил лезвие; потом оглянулся, сбросил с плеч пиджак, стянул рубашку и, голый по пояс, быстро обошел Овсова. Василий Ильич тоже разделся и стал нажимать. Волнение охватило его, когда плоская, как доска, спина маленького Сашка стала приближаться.

– Ага, ага, – радовался он, глядя надвигающиеся из стороны в сторону лопатки Сашка. – Ничего, ничего, – подбадривал он себя.

А Сашок шел и шел. Уже тяжело дышал Василий Ильич, рубашка взмокла, прилипла к плечам, глаза заволокло зеленью, и он напрягал зрение, чтобы не потерять из виду квадратную фигуру Сашка на толстых коротких ногах.

«Не могу, не могу, – стучало в голове, – брошу, брошу, вот, вот».

Но Сашок остановился и стал вытирать потное лицо. Минутная передышка – и опять впереди качающиеся лопатки Сашка, а в трех шагах от него – Овсов, с одной мыслью, как бы не отстать. Пройдя поляну туда и обратно четыре раза, Сашок воткнул черенок косы в землю и присел на кочку. Овсов опустился рядом. Стучало в висках, пот заливал глаза. Налетевший ветерок сдернул туман...

Перед ними открылся Алешкинский луг, яркий и свежий; сверху он серебрился от лугового мятлика; но особенно выделялось два цвета: желтый и фиолетовый, так сильно луг порос золотистой медяницей и веселым цветком иван-да-марья. Солнце начинало припекать, косить становилось все тяжелее.

Кто-то им несколько раз кричал, но голос казался очень далеким, и Василий Ильич никак не мог понять, кто кричит и что кричит. Но вот Сашок резко остановился, вскинул на плечо косу и, не оглядываясь, пошел к реке. За ним машинально двинулся и Овсов и почувствовал, как легко понесли его ноги, словно тело стало невесомым. На берегу реки стояла Клава. Она, по-видимому, только что выкупалась: по ее здоровому, румянному лицу катились светлые капли воды, а сама она, расчесывая мокрые волосы, смеялась.

– Да что с вами? Совсем оглохли. Кричу с полчаса, не могу докричаться. Обедать пора.

Сашок с Овсовым припали к реке и долго тянули теплую, пахнущую илом воду. Василий Ильич намочил голову. Вода хлынула за ворот, – стало легко и немножко холодно. Так, не вытирая волос, он пошел обедать. Дойдя до конца поляны, Василий Ильич оглянулся

– и не узнал ее: еще утром из-за высокого травостоя река едва виднелась; теперь она блестя рядом, даже было слышно, как плескалась плотва. Приземистые кусты неожиданно выросли, потемнели.

В самой гуще ольшаника разместилась столовая. На двух камнях стоял котел, под которым тлела осиновая коряга, а в котле пыхла ячменная каша. Колхозники, усевшись в кружок, с аппетитом ели пропахшую дымом и салом кашу и похваливали повариху Татьяну Корнилову. А она, не скрывая радости, говорила нараспев:

– Ешьте, милые, ешьте, дорогие. Всех накормлю.

Над головами висела туча назойливых мух и рыжих слепней. В стороне, облокотясь на локоть, полулежал Копылов. Ему сегодня не повезло. Только он выехал на своей лобогрейке, как под нож попал рванный кусок железа, и нож хрупнул, как стекло. Потом косилка ввалилась в заросшую яму. Лошади дернули и сломали вагу. Татьяна поставила перед Иваном полную чашку каши. Но он только понюхал и отвернулся.

Еким, мигая, посмотрел на Коня и вздохнул:

– Запустили покосы, так запустили, что ужась одна.

– Ничего, вычистят. Я сам видел в МТС кусторез. Во здорово режет, черт! Ольшаник толщиной с оглоблю, как солому, валит, – восхищенно проговорил белобрысый паренек и покраснел.

Его никто не поддержал. После Татьянинного обеда животы огрузли, разговаривать и двигаться было лень. Колхозники лежали, сладко жмуря глаза, и кое-кто уже похрапывал. С обмерочной палкой пришла Клава и сообщила, кто сколько скосил. И тут все поднялись и заговорили. Оказалось, что Василий Ильич с Сашком смахнули без малого гектар. Сашок толкнул локтем Овсова.

– Живем, Ильич. По пять рублей на брата есть.

– Больше, – живо отозвалась Клава. – Нынче председатель обещает дать на трудовень по шесть.

– Держи карман шире... С чего это? – крикнул Арсений Журка.

– Со всего и дадут, – запальчиво возразила Клава. Арсений вскочил, его смуглое подвижное лицо насмешливо скривилось.

– Дадут, поддадут да еще подбавят. Озимые-то еще с осени вымокли, а яровые нынче не ахти какие.

– Ах, грех тебе хаять-то, – вступился за яровые Еким. – Дюже ладная пшеница на климовских полях.

– А ты смотрел, какая рожь? У Сашка щетина на подбородке гуще.

– А льны какие!

– Лен выручит!

– Ясное дело – выручит!

– Все равно по шесть не дадут, – уныло проговорил колхозник с маленькими глазами на давно не бритом лице, – новый скотный двор постановили строить и завод. Опять наши денежки тую-тую.

– А что, разве это правильно? – горячо подхватил Журка. – Надо сначала колхозника удовлетворить, а потом и строиться. На кой черт сушилка, например, сдалась? На печках высушим. Было б чего сушить...

– И хватать! Верно, Арсений? – громко перебила его Татьяна.

– Чего хватать? – огрызнулся Журка.

– Чего? Аль забыл, как я у тебя из порток льняное семя вытряхивала? – и Татьяна под дружный хохот колхозников рассказала, как застала на току Журку, когда он насыпал в штаны семя.

Колхозники продолжали спорить. Каждый старался доказать свое. И всех волновал один вопрос: как нынче будет – лучше или хуже, чем в прошлом году?.. Один только Овсов оставался в стороне. Равнодушно слушая, он мысленно повторял: «Шесть рублей, шесть рублей». И, ощущая ломоту в плечах, думал: «Я там, в артели, ничего не делая, получал больше». И тут Василий Ильич почувствовал, как постепенно закрадывается в него страх. Он старался отогнать его. «Ничего, ничего. Заведу свое хозяйство, все будет». И опять: «Шесть рублей, шесть рублей!»

Во второй половине дня косили по кустам. Там росла густая макушистая трава. Справа от Овсова теперь шел Конь. Коса в его руках свистела, четко откладывая ряды, почти не задевая скрытого валежника. Чувствовалась большая сноровка косца. Его старался обогнать Сашок. Он все чаще и чаще прикладывался к бутылке с водой и оттого еще больше потел. Худощавое коричневое лицо Коня, наоборот, было сухое, а острый взгляд зеленоватых глаз говорил, что он все видит и не уступит. Вначале Овсов старался не отставать. Это желание не было задором: стыд и самолюбие заставляли Василия Ильича тянуться за другими, но кто-то невидимый назойливо шептал: «Брось, уйди. Зачем?» – и он машинально махал косой, стараясь не смотреть на этих крепких людей, у которых руки ходили, как рычаги машин.

...Ужинать Василий Ильич не пошел. Он остался на лугу в душистой копне сена. Тело ныло, особенно поясница и руки. Усталость вызывала ко всему тупое безразличие: все равно, лишь бы не трогали, а он лежал бы не шевелясь, ни о чем не думая, любуясь, как багровый горизонт постепенно краснеет, потом алеет и, наконец, подрумяненной полоской исчезает за неровной кромкой выползающих облаков... Быстро темнело...

«Но чем я недоволен, чем?.. Почему мне тяжело говорить далее с Сашком? Почему мне противен Конь?» – спрашивал себя Василий Ильич, а перед глазами опять маячила опушка леса, изба под соломенной крышей, сад, пчелы и он один... Он хочет тихой, спокойной жизни. В чем дело? Имеет он право на такую жизнь. В молодости и землю пахал, и камни колот, и на заводе работал. А теперь он хочет покоя... Но где этот покой? И здесь заводы, планы и машины. Они везде – на дорогах, в полях, в лесу! Василий Ильич в волнении поднялся на ноги, расстегнул ворот.

Уже совсем стемнело. Небо и земля были одинаково черные и обильно выдыхали тепло. Так бывает перед дождем.

«Вот я решил остаться здесь, – размышлял Василий Ильич. – Все надо вновь заводить. Дом старый, ремонт, хлопоты. А зачем? Разве нельзя приезжать в Лукаши на дачу?»

Далеко за лесом по черному небу скользнула молния, и глухо, ворчливо прокатился гром. Овсов пошел к шалашу.

Гроза приближалась. Гром с каждым ударом твердел. Молния сверкала беспрестанно. Она не высекалась искрой, не играла змейкой, а сразу со всех сторон охватывала землю, и ослепительно яркое синеватое пламя дрожало секунду-две, гасло и опять с треском и грохотом раскалывало небо.

Дождь с перерывами шел до утра. Хмурый рассвет тоже не обещал погоды. Небо затянули тяжелые прокопченные тучи, они ползли так низко, что задевали за макушки соснового леса. Люди были мокрые и злые. Одни хотели идти домой, другие – продолжать косить. Особенно упорствовал Конь. Его поддерживал Еким.

– В дождь коси, а в погоду гребь, – говорил он.

Василий Ильич втайне надеялся, что дождь прогонит всех по домам. Но Клава заявила решительно, что пока она бригадир, никого никуда непустит. Василий Ильич совсем пал духом. Надрываясь, таскал охапки мокрой, как водоросли, травы и развешивал ее на специально изготовленных из жердей клетях – вешалах.

Дождь не переставал лить. Серые облака по несколько раз собирались в проливные тучи. Земля уже не впитывала воду. Ею до краев переполнились канавы, под ногами хлюпали лужи.

На четвертый день к Овсову подошла Клава. Все уже работали, а Василий Ильич задержался в шалаше.

– Василий Ильич, – робко проговорила Клава, – шли бы вы домой. Работа не по вам. Вы так извелись, что страшно смотреть. Правда, идите. Что вам здесь?

Овсов долго молчал, упорно разглядывая носки сапог, побелевшие от воды.

– Да, да, лучше уйти, – наконец пробормотал он.

Половина Алешкинского луга была скошена. Теперь косили ближе к Лукашам, у дороги. Проходя, Василий Ильич услышал грубоватый бас Коня:

– Дачник-то наш размяк, как пряник сахарный.

– Слабоват в поджилках, – подначил Сашок.

Василий Ильич притаился за кустом.

– Грех вам над человеком измываться, – укоризненно проговорил Еким. – Сказывал – совсем в деревне останется.

– А чего ж он не мычит, не телится? – спросил Сашок.

– Не верю я в Овсова... Нюх у меня на человека собачий. Да и пользы от него, как от козла. От таких, как Овсовы... – и оскорбительная непристойность больно стеганула по ушам Василия Ильича.

Еким вздохнул:

– Язык у тебя, Ваня! Осмеять да облаять.

– Ладно, Еким, – спокойно заговорил Конь. – У меня злой язык. Ну, а ты скажи, велика от него будет польза колхозу?

– Нешто я про это говорю, – в ответ пробормотал Еким.

– Одним словом, дачник он, – отрезал Конь и обратился к Сашку: – А ну, Сашок, смахнем этот клин до обеда.

– Многовато!

– Затяни ремень потуже, – засмеялся Конь, и в тот же момент одновременно звякнули брусницы.

«Пошли заходить», – догадался Василий Ильич и торопливо, почти бегом, двинулся к Лукашам.

Дорогу развезло, как мыло. То и дело попадались низины, залитые водой, ручьи, вышедшие из берегов.

С грустной усмешкой встретила мужа Марья Антоновна.

– Нароботался, колхозничек?

Василий Ильич устало опустился на лавку и стал снимать сапоги. Марья Антоновна, подбирая мокрые портянки, взглянула на осунувшееся лицо Василия Ильича и горестно вздохнула:

– Горюшко ты мое луковое.

Глава десятая

О том, как Петр считал слонов...

Август. Тихий, теплый, напоенный горьковатыми ароматами созревающих хлебов и приторно-сладкими запахами увядающих трав и переспелых ягод. Весь день небо так высоко, что дух захватывает; ни облачка; даже птицы в эти дни стараются не летать. Дали на редкость ясные: насколько хватает глаз, видны, словно отчеканенные, кромки лесов, темные пятна кустов, присевших на бугорке, и даже телеграфные столбы – тонкие, ровные, словно вязальные спицы.

Все объято приятной ленью. Дремлет ворона на маковке корявой сосны; старый, с разбитыми копытами мерин сунул голову в стог сена и лениво обмахивает хвостом вздувшиеся, как подушки, бока... По бугру катится грузовик, за ним на дыбы поднимается дорога, долго висит над полем красноватое облако пыли... Кажется, дремлет и рожь, до земли уронив желтый колос. Слышен рокот мотора, но настолько слабый, что его заглушает полусонное бормотание ручья. Это там вдали, у леса, жнет комбайн.

Август. В лесу чуткая тишина, и боязно ее спугнуть. Шагаешь осторожно, чтоб не треснул сучок, чтоб не задеть ветки... И вдруг тинькнет беспокойная синица, стукнет раз другой дятел, да и то, наверное, из озорства; а из-под куста можжевельника с шумом вылетит тетерка и, тяжело хлопая крыльями, ударится о колючий ельник... И опять тишина. Пахнет перспелой малиной – она опадает; осыпается тмин, и уже кружится пух болотного камыша. Заметно, как в лес вползает осень. Пока она на кочках, на алых кистях брусники, на краснобокой клюкве.

Август. Горячий, изнурительный месяц. Вянет на корню трава, клевер почернел и стоит, словно обугленный, течет из колоса зерно, и тревожно звенит поджарившийся лен. Все кричит: «Не зевай, убирай!»

У Петра не было времени зевать. Его лицо под солнцем совсем высохло и почернело.

Но как ни было тяжело, топоры на Лому постукивали. Заканчивалась установка глиномялки. Председатель подумывал о механизации; робко, но подумывал. Еще в бытность Абарина колхоз закупил подвесную дорогу. Дорогу привезли, сложили в пожарный сарай и больше до нее не дотрагивались. Да и дотрагиваться не было нужды. Слишком это была несуразная роскошь для двора с горбатыми стенами, земляным полом и дверьми, в которых корова хребтом задевает за косяки. Петр решил использовать подвесную дорогу на заводе. Рассчитывая, что Максим все может, Петр отправил ее на Лом. Максим похвалил председателя за сообразительность, но устанавливать отказался, заявив, что такое дело ему не под силу.

Недолго раздумывая, Петр махнул к директору МТС. Тот, занятый по горло, рассеянно выслушал его, похвалил и пообещал все сделать, как только кончится уборка.

Весной Петру на бюро записали выговор за то, что посеял кукурузу вместе с овсом. То ли по какой-то случайности, то ли на этот раз повезло ему, кукуруза с овсом дружно взошли и потянули друг друга, а потом кукуруза обогнала и встала зеленой стеной. Всех, кто ни приезжал в колхоз, он водил в поле и хвастался:

– Смотрите! Красота-то какая!

Кукурузу пора было косить на силос, об этом неоднократно напоминали из района, но Петр выжидал. И дождался...

К этому времени поспел лен. Пришла тракторная теребилка и в несколько дней положила его на землю. В газете появился портрет тракториста, а лен больше недели валялся несвязанным. Петр все силы бросил на лен... А кукуруза так и осталась стоять...

Председателя срочной телеграммой вызвали на бюро. «Влепят, обязательно влепят», – решил он.

И вот Петр опять на бюро в кабинете секретаря райкома Максимова. Все сидят, а он стоит.

...Петр устало потер лоб и посмотрел вокруг себя. Лица знакомые, но показались они ему строгими и холодными. И только у Максимова на миг промелькнула улыбка.

– Вырастил кукурузу, даже пострадал за нее, а с уборкой тянешь. Не понимаем мы вас, товарищ Трофимов. В чем дело?

Петр хотел ответить, но голос из угла опередил:

– У Трофимова более важные дела... Завод строит.

Петр кинул быстрый взгляд в угол и увидел бритую голову директора МТС.

– Размахнулся не на шутку, – директор засмеялся. – В колхозе три с половиной человека, а он завод... Я как разобрался... Чудак, ей-богу чудак...

Такой предательской выходки Петр не ожидал. Все в кабинете перемешалось, завертелось колесом. Подкатило желание закричать, затопать ногами... Петр сжал кулаки и стал шепотом считать:

– Раз слон, два слона, три слона, четыре слона...

Поднялся шум, смех, посыпались вопросы. Максимов резко стучал по столу...

Потом Петр вышел на улицу. По дороге, выложенной круглым булыжником, с грохотом сновали грузовики, поднимая едкую пыль. У районного дома культуры на большой доске висела афиша: «Сегодня танцы».

– Танцуют! – И Петр выругался.

Ему захотелось выпить. Схватив велосипед, он пошел к чайной. Прямо у стойки взял стакан водки, два соленых огурца и долго топтался между столов, пока не освободилось место. Наконец он сел. Рядом с ним две женщины, развязав платки, обедали. Они заказали себе кильки и по три стакана чаю. В платках у них были яйца, лепешки с творогом и пшеничные колобки.

– Базар-то нынче никудышный, – пожаловалась женщина в шерстяной вязаной кофте.

– Никогда так не было. Овцу продала, а что выручила? – согласилась с ней полногрудая молодуха.

Женщина в кофте, съев яйцо, вытерла головным платком губы.

– А я, милая, – сказала она соседке, – троих учу. Нынче последнюю в техникум отдала. Ох, тяжело!

– Трудно учить-то, – посочувствовала молодуха.

– Ничего, милая... Вот, бог даст, выращу телушку, продам и перевернусь...

– «Телушку продам и перевернусь», – повторил Петр.

Женщины покосились на него и стали завязывать платки. Петр поднес водку к губам. В ноздри ударил крепкий сивушный запах.

«Вот так, наверное, начинал и Алексей Абарин», – подумал Петр и тут же вспомнил разговоры колхозников: «Наш председатель-то не пьет. Стараются все для колхоза. Таких у нас еще не было». Петр поставил стакан.

«Нечего сказать, хорошо стараюсь... Три месяца, как не выдавал аванс... А как это сказывается? На лен идут без охоты. А лен – богатство. Что, если с ним завалим?.. Но что же делать? В райком пойти?»

Петр поманил девушку и попросил ее взять водку обратно, а когда она отказалась, поставил стакан перед стариком, который спал, положив голову на фуражку с поломанным козырьком.

...Максимов был уже один. Он вопросительно посмотрел на Трофимова и пригласил садиться. Петр снял кепку.

- Я по делу.
- Из чайной?
- Из чайной. А что?
- Да ничего. Бывает.
- Вы думаете, что я...
- Я ничего не думаю, – перебил Петра секретарь, – выкладывай...
- Плохо у меня.
- Ну, уж не так-то и плохо, как тебе кажется.
- Народу мало, да и тот плохо стал работать.
- Надо заинтересовать.

Петр оживился:

- За тем и пришел. Авансируете меня под лен тысяч на десять?

Максимов встал, прошелся и опять сел.

- Лен-то хороший?

- Чудо, а не лен!

- Так, говоришь, хороший? – переспросил Максимов и потянулся к телефону.

Петр даже встал, прислушиваясь к разговору Максимова с управляющим банком. А когда Максимов подмигнул ему, вытер кепкой лицо и закурил...

Максимов откинулся на спинку стула и, внимательно разглядывая Петра, сказал:

- А теперь расскажи про завод.

Петр начал сбивчиво, а потом разошелся и выложил все. Максимов сидел неподвижно и, казалось, думал о чем-то своем. Потом он пошевелился, устало потер лоб.

- Да, тяжело тебе было сегодня на бюро.

– Да и сейчас не легче... Так обидел директор... А за что?.. Завод – моя цель. Он мне нужен как подспорье в хозяйстве. И я очень рассчитываю на этот завод.

Максимов улыбнулся.

- Мечтаешь торговать кирпичом...

- Мечтаю! – воскликнул Петр.

- Значит, завод – твоя цель?

– Это скорее первый порог к моей цели... И если я на нем споткнусь, упаду, то мне не подняться... Может быть, это глупо. Но у меня такое предчувствие. Завод – проба моих сил. И почему-то никто меня не понимает... А другие просто издеваются.

– Да, теперь я понимаю, – медленно произнес Максимов. – Вот, значит, почему ты так смотрел на директора МТС...

Петр усмехнулся.

- Я слонов считал...

Максимов вздернул брови.

- Когда я сильно волнуюсь или когда не спится, считаю слонов, – пояснил Петр.

- Помогает?

- Как видите, сегодня удачно. А то, бывает, всю ночь считаешь...

- Все завод?

Петр вздохнул.

- Завод... Да и другое.

Максимов перекинул листок календаря и стал быстро писать. Петр поднялся, но следующий вопрос секретаря надолго задержал его. Максимов спросил о переселенцах. Рассказ про Овсова заставил его задуматься.

– Когда я встречаюсь с Овсовым, – прервал молчание Петр, – мне становится неприятно. Какой-то затхлостью от него несет, как от старого заключенного дома.

Максимов встал, прошелся, распахнул окно и подозвал Петра.

– Видишь эту дорогу? – сказал он. – Она идет в самый отдаленный сельсовет. Длинная, пыльная, ухабистая дорога. Но я все-таки предпочитаю ходить по ней: не собьешься. Обязательно приведет на место. Но есть и другая дорожка – узкая, как тропинка. Раз я и пошел по ней. Иду, сердце радуется. Птички песни поют, цветочки ноги щекочат. Так шел я, шел, и вдруг оборвалась моя дорожка. Оглянулся – глухомань кругом... Оказалось, что тропинка никуда не вела. Пришлось возвращаться назад... А Овсов всю жизнь плутал по такой тропинке... Вот она и завела его никуда, и теперь он мечется, как слепой, из стороны в сторону бросается...

В приподнятом настроении вышел Петр из кабинета секретаря райкома. Вскочив на велосипед, он заторопился в колхоз.

Районный городишко стоял на берегу Волги. Каменистая, изрытая ухабами дорога спускалась к реке. Подпрыгивая на седле, Петр спустился к Волге. У города она текла между высокими берегами. Левый берег, более отлогий, подступал к воде. Около воды разгуливали козы. Выше находились каменоломни, похожие издали на барсучьи норы; кое-где стояли штабеля белого камня. Большинство каменоломен заросло, отчего берег был покрыт ровными широкими грядами, словно могилами сказочных великанов.

Правый берег, лесистый, отступил от воды на полкилометра, образовав пойму, густо заросшую бурьяном.

Поперек Волги крохотный буксиришко с трудом тащил паром, на котором в беспорядке стояли возы с сеном, телеги с мешками, две грузовые машины и комбайн. На краю парома, махая платком и надрываясь, кричала женщина:

– Рома-а-а-ан!

Уже и паром скрылся, а женщина продолжала звать Романа, и звонкие отголоски «ан», «ан», ударяясь о берега, отскакивали от них и тонули в рябоватой волжской воде.

Дорога, отступив от реки, стала подниматься в гору. Петр, спрыгнув с велосипеда, пошел пешком... День уже был на исходе, и жара постепенно спадала. Солнце теперь не жгло, но еще чувствительно припекало, а от каменистой горы несло, как от раскаленной печки.

Поднявшись на гору и миновав деревушку в десяток домов, Петр вошел в густой ореховый лесок. В лесу было прохладно, пахло гнилью и папоротником. Дорогу с обеих сторон стеснял орешник. В иных местах макушки кустов сцепились, образовав сплошную ярко-зеленую крышу, сквозь которую лился мягкий изумрудный свет.

Было очень тихо, легко и отрадно. Тянуло упасть под малиновый куст и, вдыхая густой сладкий запах ягод, лежать, ни о чем не думая. Но отдыхать нет времени...

Кончился лес. Потянулись поля. Солнце боязливо садилось на острые макушки елок. Одна половина неба была ярко-голубая, другая – белесая, словно полинялый ситец, а у горизонта, пронизанное насквозь лучами, плавилось одинокое облачко.

«С хлебами-то пора кончать, а у нас и половины еще не убрано», – подумал Петр, глядя на сильно порыжевшее ржаное поле. Теперь другие, будничные мысли о своем колхозе охватили его. «Убрать бы все вовремя, тогда бы и я перевернулся, – и Петр улыбнулся, вспомнив разговор в чайной. – Выдал бы на трудовень по восемь рублей. Нет, по восемь не выйдет, а по шесть дал бы. И завод восстановил бы, и новые скотные дворы поставил. Народу мало, но и с этими можно многое сделать. Андрей Нилов, Сашок, Кожин. А Конь? Ведь ничего у него сейчас нет. На одной картошке семья сидит. А какой работник! Вот бы мне таких с десяток... Ульяна...»

Ульяна буквально прилипла к Петру и смелела с каждым днем. Она не только не скрывала своего отношения к Петру, но, наоборот, при всех откровенно тянулась к нему. В Лукашах твердо решили, что Улька женит на себе председателя.

«Надо кончать с этим, – думал Петр, – объясниться с ней раз и навсегда».

Свернув на тропинку, он спустился в низинный луг и поехал по его обочине. Луг был узкий, но длинный, поросший осокой. Справа километра на три протянулось болото. Над болотом нависал туман, на глазах превращая его в огромное озеро. Стало холодно. И чтобы согреться, Петр поехал быстрее.

Около Лукашей, на потравленном клеверище пасся табун лошадей. Слышался глухой стук копыт и задорное ржание стригунков. Как только Петр поравнялся с табуном, его окликнули. Он остановился, слез, околотил кепкой серые от пыли штаны. Подошел Овсов.

– Из района, Петр Фаддеич? – спросил он. – Поздновато.

– Это еще что. Другой раз к двум часам едва доберешься.

Василий Ильич вынул из кармана часы, щелкнул крышкой.

– Четверть девятого.

– Да ну? – удивился Петр. – Вот не думал.

Наступило молчание. Петр, закуривая, поглядывал на Овсова.

– Ну как, привыкаешь, Василий Ильич?

– Ничего. Надо же что-то делать.

– Да, конечно.

Петр не знал, о чем с ним говорить, а Овсов, как ему показалось, хотел что-то сказать, но замаялся.

– Ну, Василий Ильич, будь здоров.

Овсов, подавая руку, несмело проговорил:

– У меня просьбишка. Видишь ли, я хотел заявление-то взять у вас.

Петр промолчал и тронул на руле звонок. Тот динькнул тонко и неприятно, и звук его сразу увяз в тумане.

– Так я возьму, а? Завтра забегу к вам.

Петр медленно поехал.

– Так как же, Петр Фаддеич, с заявлением? – крикнул ему вслед Овсов.

Петр, не отвечая, рывком крутнул педаль и скрылся за кустами.

Не доезжая Лукашей, он свернул в прогон и поехал к шохе проверить охрану зерна. Уже совсем стемнело. За лесом расплзались кроваво-красные отсветы луны. Шоха – крыша на столбах – находилась на так называемых ближних полосах.

Петр позвал сторожа. Никто не ответил. Обходя кучу снопов, он споткнулся.

– В лоб хочешь, чтоб закатил? – спросил сиплый голос.

Снопы развалились, и, натягивая на глаза кепку, поднялся Журка. Петр усмехнулся, прислонил велосипед к снопу, сел и стал закуривать. Арсений тоже потянулся к портсигару. Молча закурили, молча накурились и молча заплевали окурки.

– Чего это тебе, председатель, не спится? – зевая, спросил Журка. – Все думаешь, как колхоз поднять?

– Думаю, Арсений, думаю.

– Шел бы домой, да и думал.

– Что это ты меня гонишь? – удивился Петр.

– Мне-то что, сиди. – Журка запахнул ватник и привалился к снопам, подобрав под себя ноги.

Петр прислушался. Кто-то ходил около шохы. Зашаркали резиновые галоши, и женский голос окликнул Журку. Петр узнал голос Ульяны... Она подошла и удивленно протянула:

– Да вас тут двое. Кто это?

Петр отвернулся. Ульяна приблизилась к нему, ахнула и, пятась, прошептала:

– Петр Фаддеич...

Встреча была неожиданной. Петр растерялся, пробормотал что-то непонятное и быстро вышел из-под навеса.

– Петр Фаддеич! – позвала Ульяна.

Он пошел быстрее, но она догнала...

– Петр Фаддеич, – задыхаясь говорила Ульяна и, стараясь попасть в ногу, шла рядом. – Вы подумали, что я к нему пришла? Я только попросила его покараулить, пока домой бегала... Почему вы не верите мне? – Ульяна схватила председателя за рукав и заплакала: – Петр Фадде-е-е-ич...

В ту же минуту за их спинами неестественно высоким голосом запел Журка:

И на юбке кружева, и под юбкой кружева, —
Неужели я не буду председателя жена?..

Они посторонились. В накинутах на плечи ватнике мимо прошел Журка, стуча каблучками.

Над лесами тяжело поднималась луна. Ее розовато-мутный свет разбавил темноту. Длинная крыша шохы теперь, казалось, повисла над землей. Пепельно-серую дорогу пересекали две тени.

Ульяна потянула Петра к обочине и села, туго обтянув колени подолом. Петр опустился рядом. Ульяна подбородком ткнулась ему в грудь и засмеялась. Потом подняла лицо и вся потянулась к нему. Но поцелуй получился торопливый и соленый. Ульяна что-то зашептала... Петру стало приятно, и в то же время шевельнулась мысль: «Не надо бы всего этого».

– Ульяна...

– Да, да! – отвечала Ульяна.

– Как же будем мы с тобою жить?

– Будем, будем...

– Плохо мы живем. Так нельзя жить.

– Можно. Мы уже привыкли.

– «Мы уже привыкли», – повторил Петр и машинально погладил ее щеку. – Ты сказала – привыкли так жить?

– Да, – Ульяна недоуменно посмотрела на Петра. – Что с тобой?

– А я не могу так жить, – Петр отстранил Ульяну и встал. Ее руки скользнули по его пиджаку, ухватились за карманы...

– Вот ты как... – прошипела она.

Петр отвел ее руки и пошел.

«Привыкли, привыкли», – стучало в голове. Через минуту до него донесся тоскливый крик Ульяны:

Вот и кончилась война,
И осталась я одна.
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик...

...Около мостка через Холхольню Петр встретил Журку. Журка помог ему протащить велосипед по бревнам. Потом они вдвоем вели за руль машину и ни о чем не говорили.

У дома Петра Журка сказал сиплым басом:

– Петр Фаддеич, надо заранее дров заготовить для завода, чтоб высохли. Максим говорил – для обжига нужна высокая температура...

В горле у Арсения, видимо, першило, и он с трудом сдерживал себя, чтобы не раскашляться...

Глава одиннадцатая

Пожар

Ночь. Она смешала поля с лесом, деревню с садами, Лукаши – десятка два желтых огоньков, лай собак, звонкие вскрики гармошки и озорная песня Арсения Журки:

Голова ты голова, голова-головушка,
Не боится голова ни кола, ни колышка...

Стреноженные кони глухо бьют копытами, жеребята трутся около маток. За ними гляди да гляди. Не успеешь моргнуть, как пустятся в горох, задрав хвосты. Василий Ильич выгонит их и опять привалится к стогу, подоткнув под бока сенца. Лежит и думает, думает об одном и том же... Со своими думами он свыкся, вызубрил их, как таблицу умножения.

Ночь с каждым часом свежее. Василий Ильич с головой зарывается в стог. Слежавшееся сено полно тепла и запахов луговых трав.

Так проходит ночь за ночью, спокойно и однообразно. И казалось порой, что наконец Овсов обрел то, что искал: ночью он пас коней, а днем копался в своем огороде.

Но это только казалось. Тихий уголок – мечта Василия Ильича – задвигался невидимой прочной стеной. Василий Ильич получил участок земли, но не ощутил радости. Наоборот, вместо радости вначале появилась тревога, а потом ее сменило полное равнодушие. Весной он торопился обработать огород и боялся, что опоздает. Но прошел месяц, другой, и Василий Ильич охладел к нему.

«Переломи себя, Василий, переломи», – гудели в голове слова Матвея Кожина.

Между Овсовым и Кожиним произошел неприятный разговор. Василий Ильич хорошо запомнил его, хотя был, как и Кожин, сильно пьян.

Илья – престольный праздник в Лукашах. Готовились к нему дружно. В ночь перед праздником Овсов и Сашок мылись в бане Матвея Кожина. Сам хозяин пригласил их снять первый пар.

Парились долго, ожесточенно, до одурения. Из бани шли обмякшие, красные, словно варенные, и по предложению Матвея завернули к нему прохладиться. Прохлаждались брагой, сваренной на меду. С первых же стаканов мужики осовели и, как водится, заговорили о политике.

– Потерял мужик интерес к земле, – настаивал Василий Ильич.

– А почему потерял? – Голос Матвея, чем больше он пил, становился все глуше и гудел, как в бочке.

– Потому что техники много стало. Эти трактора с комбайнами как землю терзают! Все соки из нее выжали... А раньше-то мы с ней разве так обращались? Бывало, вспашешь ее, голубушку, потом пройдешь по ней с боронкой. А идешь-то осторожно, шаг в шаг, чтобы не затоптать ее, матушку... Стоишь на меже и любишь. Лежит она ровная, как барышня гребешком причесана... Хорошо!.. – Глаза у Овсова набухли, и он, не стесняясь, вытер слезы.

– Чудак ты, Василий. Ох, чудак! – усмехнулся Матвей. – Хаешь технику, а ведь она большое дело сделала. Жалко, в Лукашах ее мало еще пока. Техника – сила... А ты, Василий, очень отсталый человек, а еще в городе жил. Только ты на меня не обижайся. Выпей. Не обижайся. – И Матвей поставил перед Овсовым еще стакан браги.

Но Василий Ильич обиделся. Он долго сидел насупившись, а потом ехидно заметил:

– Тебе, Матвей Савельич, можно защищать технику. Как ты живешь в Лукашах? Не чета другим. Сам кузнецом пристроился, сын – шофером. Два огорода пашешь. Пчелы, сад,

одних овец, наверное, десятка два наберется. Вот и бражку на меду поставил, а Масленкин последний пуд муки на самогонку сварил.

– Не последний, – возразил Сашок. – А до Матвея мне, конечно, далеко. У меня шесть ртов. И все кричат «давай!», а давальщик-то я один.

Матвей встал, сходил в горницу – сидели они в кухне, – вернулся с листком бумаги, свернутым в трубку, раскатал его и положил перед Овсовым.

– Это раздельный лист, Василий. И двумя огородами грех меня попрекать. Сын у меня теперь – отрезанный ломоть. У него свое хозяйство. Скоро совсем от меня уйдет, вот дом построит и уйдет. – Матвей скатал листок и сунул его на божницу, за икону. – Не жалуюсь, неплохо я живу, Василий. А потом, почему я должен плохо жить? Разве советская власть запрещает хорошо жить? Я газеты читаю, – там не пишут, чтобы колхозник плохо жил. – Матвей, хохоча, посмотрел на Овсова.

– Кто сказал, что мужик потерял интерес к земле? – пьяно закричал Сашок и опрокинул стакан с брагой.

Матвей поставил стакан подальше от Сашка и погрозил ему пальцем.

Сашок, не обращая внимания, замахал руками.

– Ты не кричи – народ еще по улице ходит. Подумают что... – забеспокоился Овсов.

– Ничего, пусть выскажется; дуй, Масленкин, – сказал Матвей.

Но Сашок уже высказался. Он грузно опустился на табуретку и положил на стол голову. Кожин долил стаканы.

– По последней. Больше не дам. Потому как я уже пьяный. – Нетвердо ступая, Матвей отнес бутылку в шкаф. Потом пододвинул стул к Овсову. – Я тебе еще скажу, Василий. Только ты не обижайся... Не уважают тебя в Лукашах.

– Почему?

– Вот ты приехал в колхоз. И чем сразу занялся? Своим огородом. Народ и говорит: «Тоже нашелся патриот городской». Люди-то понимают все твои думки: подальше, в сторону от колхоза. Так я говорю?

Василий Ильич, слушая, царапал клеенку. Лицо у него жалко сморщилось, нижняя губа, отвиснув, дрожала.

– Не верят тебе в Лукашах, – продолжал Матвей. – Потому и зовут дачником. А ты возьми да переломи себя, Василий. Переломи – легче будет!

«Переломи себя»! Сколько же можно ломаться?» – думал Овсов. И чем больше думал, тем яснее ему становилось, что в Лукашах ему не удержаться. Там, во «дворце полей», он жил незаметно и никому до него дела не было. А здесь он у всех на виду. И каждого интересуется – зачем он приехал, что собирается делать.

Пожар начался на рассвете. Очнувшись, Василий Ильич долго не мог понять, где он и что все это значит. Кони, наострив уши, тревожно ржали. Кто-то вдали беспорядочно колотил по чугунной доске. Небо багровое. Над головой – синие, с накалившимися краями облака и луна, как будто обрызганная грязью.

– Пожар! – Овсов рванул с головы фуражку и заметался, не спуская глаз с неба. Оно все больше и больше краснело, густой сизый дым с охепками искр висел над Лукашами.

– Горим!

Василий Ильич напрямик, по кустам, бросился в Лукаши. Он бежал, как слепой, выставив вперед руки, ощупью раздвигая кусты. Исхлестанный ветками, без фуражки, он выбрался на пригорок.

Горела заречная сторона. Ноги у Овсова подогнулись, он закачался из стороны в сторону.

– А-а-а... – простонал он.

Виновник пожара – бывший председатель Алексей Абарин – чуть сам не сгорел. Всю ночь он гнал самогон, а под утро уснул, свалившись на пол в сенах... Рядом в доме жил Копылов. Он выскочил на улицу в нижнем белье, увидел, что крыша его дома охвачена огнем, бросился в избу и стал выносить сонных ребятишек. Когда хлев полыхал, как стог соломы, Копылов вспомнил о корове. Накинув на голову мокрый мешок, он кинулся в огонь. Но было уже поздно: корова лежала около ворот с выпученными лиловыми глазами. Раздался истошный крик жены:

– Ваня!..

Едва он отбежал, как крыша завалилась. Лохматый, обсыпанный гарью, Иван схватил жену за руку и потащил, крича:

– Где дети? Иди к ним!

– Там, у реки, у реки...

На берегу реки сидели ребятишки и большими от восхищения глазами смотрели, как загорался соседний дом. Огонь добрался до крыши и ошалело забегал по ней, с хрустом пожирая drankу.

– Вот галит так галит! – кричал, прыгая, беспортошный трехлеток Степка.

– Вот дурак, дом сгорел, а он радуется, – всхлипывая, тянула его сестренка.

Рядом с ней, завернутый в одеяло, барахтался грудной ребенок. Увидев отца с матерью, дети заревели.

– Все здесь? Все, кажется, – облегченно вздохнул Конь. – Дарья, смотри за ними, я побегу.

– Куда ты в кальсонах? На штаны, – Дарья развернула ком белья и бросила ему брюки.

Огонь беспрепятственно пожирал дом за домом. Люди спасали все, что можно вытащить. Когда из изб все до горшка было вынесено, начинали выбивать окна, снимать с петель двери. Один только Арсений Журка не заботился о себе. Он носился по деревне, со звоном распахивая окна, а оттуда на землю летели подушки, валенки, с грохотом вываливались тяжелые сундуки. Журка был неустойчивым. Казалось, что наконец-то и он нашел для себя настоящее дело.

Запылала изба Екима Шилова, и его старуха заголосила: «Милые, спасите боровка!» Арсений бесстрашно бросился в горящий хлев и колом выгнал оттуда девятипудового борова. Сам Еким в это время ходил вокруг дома с иконой Николая Чудотворца.

Задымилась изба Масленкина. Сашок сутился, как пьяный. Он то принимался тыкать багром в стену, то хватался за топор и со всего плеча выбивал подоконники, то кричал на жену: «Давай воду! Воду давай!», то, опустив руки, говорил: «А ребятишки-то где? За ребятишками смотри!» А когда затрещала крыша и от дома понесло печеной картошкой, Сашок опустился на колени и стал мочить в ведре голову. Из окон покатились смолистые клубки дыма и заволокли все вокруг...

На улице валялись разбитые сундуки, кровати, под ногами катались ведра и чугуны. Неподалеку от горящего бревна стояла чья-то корзина с тлеющим боком. Конь на бегу выхватил из нее белье, бросил в сторону, под куст акации. На дороге осталась детская рубашонка. Она пошевелилась, потом подпрыгнула и, прильнув к бревну, сгорела легко и весело.

С расстегнутым воротом, босой, брел Фаддей, прижав к груди валенок. Прикрывая рукой глаза, Конь подбежал к Фаддею.

– Где председатель?

Фаддей посмотрел на Коня и прохрипел:

– Сгорит все, как порох сгорит.

– Петр где?! – закричал Конь, встряхивая Фаддея.

– А? – опомнился старик. – Петька побежал в правление пожарных вызывать. Да разве дождешься? Все сгорит. Видишь, сухо как.

Не дослушав Фаддея, Конь побежал дальше. Поймав Журку с Сашком, он потащил их к пожарному сараю. Втроем приволокли они ручную водопомпу – качалку, похожую на самовар. Но дотянуться до воды не хватало рукавов. Сбегался народ из ближних деревень. Привезли еще три таких качалки и кое-как из них собрали одну. Но сбить огонь не так-то было легко. И Конь скомандовал разбирать дома. Группа парней с Журкой во главе взобрались на крышу какого-то дома, вмиг взломали ее и с грохотом спустили на землю. Мужики бросились к дому с баграми.

Первое, что увидел Василий Ильич, когда вбежал в деревню, – свой дом.

– Стоит! Стоит!

Василий Ильич беззвучно засмеялся и, обхватив шершавый столб крыльца, погладил его, приговаривая:

– А что? Стоишь, стои-и-и-ишь!

Марью Антоновну с вещами он нашел далеко на задворках. Она сидела на чемодане, среди узлов. Увидев мужа, Марья Антоновна заплакала.

– Зачем ты меня сюда завез?..

– Все вынесла? А где зеркало, шкаф?

– На что они нам сдались?

По улице пробежало трое колхозников, среди них был старый Кожин.

– Матвей! – окликнул Василий Ильич.

– Давай, давай! – не оборачиваясь, замахал рукой Кожин.

Туча искр металась над Лукашами, ветер нес красные хлопья, усыпая ими крыши. Овсов оглянулся и, видя, что никто не обращает на него внимания, сгорбил и быстро пошел к дому. Здесь он вынес со двора лестницу, сунул в ведро с водою веник и полез с ними на крышу.

Только сейчас он увидел, как стар его дом, – истлевшая дрань крошилась под ногами. Он ползал по крыше, хватаясь за трухлявые жерди, которые трещали и качались. Оторопь сковала Овсова, когда над домом Масленкина взметнулось оранжевое с черной каймой пламя и захлопало, как огромное полотнище... Сверху посыпался пепел. Тополь, стоявший около дома Сашка, задрожал, листья зашуршали, как бумага, и вдруг он вспыхнул сразу со всех сторон, как факел. Огонь в минуту взломал тесовую кровлю и, провалившись в темный от копоти сруб, заклокотал в нем.

– Раз, два, взяли!! – услышал Василий Ильич надрывный голос.

Внизу мужики баграми раскачивали крышу соседнего дома.

– Голубчики мои, спасители, не дайте погибнуть, – бормотал Василий Ильич, ползая по крыше своего дома и махая мокрым веником.

Раскаленный сруб Сашка продолжал стоять, грозя вот-вот рухнуть и завалить горящими бревнами все вокруг.

– Давай сюда!..

Овсов увидел, как мужики кинулись к его дому.

– Разрушат... Конец всему, – прошептал Василий Ильич и визгливым голосом закричал: – Не смей!

Внизу притихли.

– Не смей разорять!

– Овсов это, – сказал кто-то и крепко, с вывертом, выругался.

– Не смей! – в исступлении повторил Василий Ильич и сжал над головой кулаки, но покачнулся и, потеряв равновесие, упал. Почувствовав, как ползет под ним дранка, он с силой ухватился за оголенную жердь, но обломал ее и покатился вниз с обломком в руках. В последний момент, когда ноги уже ощутили пустоту, он услышал громохание пустого ведра. Оно обогнало Овсова...

Глава двенадцатая

Из Лукашей

Палата № 3, где лежал Василий Ильич, мало чем отличалась от других палат. Была она светлая, с желтыми полами, тумбочками и желтыми панельками на стенах. Тишина, скука и карболовый с примесью нашатыря запах не покидал ее даже при открытых окнах.

Но Василий Ильич быстро привык и к тишине, и к тупой боли в груди. Гораздо труднее было привыкать к шороху накрахмаленного халата сестры и надрывному кашлю соседа по койке. На ней лежал пчеловод из дальнего колхоза – мужчина одних лет с Овсовым, с впалыми щеками и лихорадочным блеском в глазах. У него были длинные, тонкие ноги с большими, плоскими, как доски, ступнями. Когда пчеловод кашлял, то пятки у него стучали о прутья кровати, как деревянные, и Василий Ильич каждый раз боялся, как бы он не задохнулся. Откашлявшись, пчеловод, хватая воздух частыми и мелкими глотками, говорил:

– А ведь не выживу, умру... Да, умру.

Потом он закрывал глаза и лежал неподвижно, теребя крючковатыми пальцами байковое одеяло.

Пчеловода аккуратно два раза в неделю навещала внучка – голенастый подросток с круглыми испуганными глазами. Входила она в палату на носках, с узелком, и боязливо оглядывалась. Тихонько поставив к кровати стул, она садилась спиной к Василию Ильичу и, развязав платок, выкладывала на тумбочку банки с вареньем и медом, лепешки с творогом, печенье. Пчеловод ее спрашивал о домашних делах. Отвечала девочка торопливо, не спуская глаз с окон, и поминутно повторяла:

– Дедушка, поправляйся скорее...

После ее ухода пчеловод угощал Овсова.

– На, – говорил он, подавая лепешку, – попробуй, должно быть, вкусная... Ты не бойся. Моя болезнь не пристанет.

Василий Ильич, чтобы не обидеть больного, брал лепешку и, отломив крохотный кусочек, проглатывал его, как пилюлю. Лепешка липла к рукам и пахла подгоревшим творогом.

– Хорошая, должно быть, на меду, – хвалил Василий Ильич, а потом долго под одеялом тер о простыню пальцы.

К радости Василия Ильича, сосед тоже не любил много говорить. За день они не произносили и десятка слов.

– Душно. Хуже мне. Дождь будет, – сообщал пчеловод.

– Будет, – соглашался Василий Ильич.

– Время-то... часа два...

– Не больше.

Тупое равнодушие сковало Василия Ильича. Он мог подолгу смотреть на печную конфорку. Конфорка на глазах вырастала до невероятных размеров и наконец заслоняла всю комнату. Тогда Василий Ильич переводил взгляд на ржавый подтек в углу. Он представлялся узором, который на глазах принимал все новые и новые формы: Василий Ильич то отыскивал в нем сходство с головой человека, то пририсовывал к нему целую картину. Если в это время приходила Марья Антоновна, Василий Ильич сердился. Марья Антоновна садилась в ноги и, по обыкновению, жаловалась, что она измучилась в Лукашах и что ей смотреть на все тошно. Василий Ильич, не слушая жену, смотрел в угол на подтек. И как-то однажды сказал:

– Так не годится... Надо ту сторону подзагнуть и пустить вниз пару витков...

– Василий, что с тобой? – испугалась Овсова.

– А так, ничего, – ответил Василий Ильич. – Скоро ты домой пойдешь?

Не обрадовался Василий Ильич, когда жена сообщила, что их дом отстояли. Он поморщился, как от боли, и безразлично сказал:

– Отстояли? Как же это?

Марья Антоновна стала подробно рассказывать, но Василий Ильич остановил ее:

– Ладно. Поправь под боком постель... Давит что-то.

Овсов выздоравливал. Теперь он все больше и горше думал. До рассвета он лежал с открытыми глазами и беззвучно шептал: «Как жить?... Как жить?..»

Думы сменялись длинными и странными снами. Один из них запомнился Василию Ильичу... Он видел реку, вода в ней была черная, а по берегам стояли высокие белоствольные березы. Их раскидистые густые кроны заслоняли солнце, а сильные корни, как лапы огромной хищной птицы, крепко цеплялись за каменистый грунт. Василий Ильич, идя по берегу, увидел повисшую над водой березу. Своими искривленными толстыми суками она обхватила два соседних дерева и качалась между ними, купая в воде длинные корни. Обрывистый выступ, на котором стояло дерево, по-видимому, срыла в половодье льдина, но березу утащить не смогла. Береза еще жила, только листья у нее были вялые, как у ошпаренного банного веника. Василий Ильич долго находился под впечатлением этого сна.

Незадолго до выхода из больницы Овсова навестил Масленкин. Василий Ильич в сером фланелевом халате бродил по больничному парку – так называли здесь рощицу с двумя десятками кленов и лип. Василий Ильич присел на скамейку около клумбы, на которой уже отцветала лиловая гвоздика и начинали распускаться желтые георгины. Он не заметил, как подошел Масленкин.

– Наше вашим, – поздоровался Сашок и подсел к Овсову. Одет он был в синий костюм. Пиджак так плотно обтягивал плечи, что Сашок, боясь, как бы он не затрещал и не разползся по швам, сидел прямо, опустив руки, как перед фотографом. Зато брюки были слишком длинные, и чтобы они не волочились, Сашок подвернул их внизу и заколол булавками.

– Эхма! – Сашок снял кепку. – Жарко-то как.

– Погода сухая. С уборкой как? – спросил Василий Ильич.

– Убираем. – Сашок помахал кепкой и повесил ее на сучок, потом вынул из кармана четвертинку. – Завтра Спас Преображенья.

Василий Ильич усмехнулся:

– Кто рад празднику, тот накануне пьян.

– Да нет, не с чего, – вздохнул Сашок. – Да и с какой радости? Сам знаешь – горе у меня. В амбаре ютюсь с ребятишками. А какой дом был! Двух лет не прожил в нем. Ну, да что говорить, давай выпьем.

Василий Ильич сходил в палату за стаканом. Пили по очереди, закусывали луком и холодной говядиной. От водки и жары у Василия Ильича закружилась голова, тело обмякло, и приход Сашка, который и вначале был неприятен, стал невыносимо тягостным. Сашок же, наоборот, был не в меру болтлив. Он поминутно вытирал глаза и дергал Овсова за рукав халата. Говорил он бестолково – все об одном и том же – и совершенно не обижался на угрюмость Овсова.

– Шесть домов в Лукашах как не бывало. Если бы не пожарные машины из района, все бы подчистую выгорело. Твой дом удалось спасти... Вот я тоже барана продал. У Фаддея валенок украли... В валенке-то он деньги хранил, те, что Петр ему еще из города посылал. А у меня как сегодня получилось? Привез я мясо на базар. Не хотят клеймить и мясо продавать не разрешают... Говорят – давай сбой: может, он у тебя, баран-то, подох. А печенку-то с легкими я дома ребятишкам оставил. Не ставят клеймо, хоть плачь. Назад в такую жару мясо везти? Меня инда пот прошиб. Ну, кое-как уладилось... Абарина-то судить за пожар будут.

Внезапно Сашок замолчал и долго тер лоб, словно вспоминал что-то.

– Строиться опять будешь? – спросил Василий Ильич, не потому, что это интересовало его, а так, между прочим.

Сашок мельком взглянул на Овсова и, тяжело упираясь ладонями в колени, проговорил:

– Разговоры в Лукашах, Василий Ильич, ходят: уезжать ты собираешься и дом продашь.

Овсов вздрогнул.

– Я давно хотел поговорить с тобой, – продолжал Сашок, не спуская глаз со своих парусиновых башмаков. – Не продай бы ты мне дом в рассрочку или пустил бы пожить, пока я обстроюсь?

Василий Ильич ответил не сразу и наконец, собравшись с мыслями и стараясь казаться веселым, сказал:

– Ну и люди. Уже дом покупают. Кто же эти слухи распускает?

– Марья Антоновна говорила. Сам слышал.

– Пока я хозяин дома. И продавать его не собираюсь, – резко ответил Василий Ильич. Сашок встал и, виновато улыбаясь, протянул руку.

– За просьбу извини. Не по воле, а по нужде пришел.

Разговор с Сашком задел Василия Ильича и одновременно укрепил его решение. Только было неприятно, что в Лукашах про него много болтают и что жена не скрывает их планов.

«Незаметно, тихо нужно сделать это, – рассуждал Овсов и в то же время был доволен, что нашел выход из трудного положения. – Буду ежегодно навещать Лукаши и жить лето».

В конце августа Василия Ильича выписали из больницы. Чтоб не встречаться с колхозниками, в деревню он подгадал прийти в сумерки. Марья Антоновна разбирала кровать, когда он постучался.

– Здравсте, явился наконец, – протянула она, – а я собиралась к тебе завтра с утра.

Василий Ильич умылся, сел за стол. Марья Антоновна поставила перед ним стакан и крынку молока. Овсов молча отрезал ломоть хлеба и, смахнув со стола крошки, сказал:

– Вот что, Маша, я думаю – надо собираться.

Марья Антоновна, скрывая улыбку, села рядом.

– Мне что? Я хоть сегодня.

– Ты что на меня так внимательно смотришь – не узнаешь?

Марья Антоновна засмеялась.

– Теперь узнаю. А вот когда только приехали сюда, не узнавала, – и, помолчав, как бы между прочим, она добавила: – Я и дом продала.

Василию Ильичу показалось, что он ослышался.

– Ты о чем это?

– Вот полюбуйся. Мы уже и договор с Михаилом Кожиным написали, – и Марья Антоновна положила перед мужем лист бумаги, исписанный прямым круглым почерком. Положила и рукой прихлопнула. – Ты радуйся, что у тебя такая жена. Все удивляются: дом-то половину того не стоит, что я выговорила.

Василий Ильич схватил бумагу.

– «Выговорила», «выговорила»! А этого не хотела? – и, сжав кулаки, он пошел на Марью Антоновну. – Кто хозяин дома, а?

Она встретила его, скрестив на груди руки.

– И я!

Овсов смял и бросил договор на пол.

Одно дело отказаться от мысли жить здесь, но порвать навсегда с деревней?.. Василию Ильичу стало жутко.

Марья Антоновна подняла бумагу, разгладила ее на коленке и, аккуратно свернув, положила в карман кофты. Она слишком хорошо знала своего мужа.

Так оно и получилось. Через день Василий Ильич с Михаилом поехали в районный поселок к нотариусу – заверить договор купли-продажи – и вернулись только к вечеру. Овсов был пьян и едва, с помощью Михаила, переставлял ноги. Увидев Марью Антоновну, он забормотал:

– Продал дом, Маша. Продал, конец всему. А ну,пусти меня! – неожиданно закричал он, оттолкнув Михаила. – Ты думаешь, я от вина пьян? Эх, вы! Разве я дом продал? Я себя продал! Свой род овсовский.

Марья Антоновна, поджав губы, брезгливо смотрела на мужа. А рядом стоял Михаил и, почесывая затылок, извинялся:

– Смочили малость. Дело-то какое. Ведь избу купил. – Он старался казаться огорченным, но никак не получалось. По его скуластому лицу расплзалась улыбка.

В среду Овсовы распрощались с Лукашами. Их повезли к станции на попутной машине. Провожал соседа сам Матвей Кожин. Вещей набралось – гора. Здесь были узлы, корзинки, два бочонка – с огурцами и с грибами. Когда к дому подогнали машину и стали выносить вещи, Марья Антоновна, зорко следя за погрузкой, жаловалась Кожину, что еще что-то хотела купить, да совсем забыла.

Матвей ухмыльнулся.

– Чего же еще надо? Вот разве поленницу дров. А что, Марья, не захватишь ли десяток плашек? Берзовые, сухие, сгодятся.

– Не мешало бы, Матвей Савельич, – серьезно ответила Овсова.

Приехав на станцию, остановились около крошечного привокзального скверика с десятком кустов сирени и одинокой скамейкой.

Часть вещей оставили с Марьей Антоновной в скверике, остальные сдали в багаж. Заняв очередь за билетами, мужчины вышли на перрон. Здесь царили жара и скука. Солнце светило отвесно, упираясь горячими лучами в тесовые крыши вокзала, с которых, как шелуха, осыпалась краска. У входа в зал ожидания, на каменных ступенях, пристроилась цыганка. На груди у нее в платке висел ребенок. Цыганка ела булку, запивая ее квасом из бутылки.

В стороне, под жидкой тенью молодого дубка, обхватив руками портфель и шляпу, дремал худощавый человек. Около него вертелся цыганенок. Он то ходил на носках, то приседал на корточки, внимательно разглядывая лицо спящего. Человек неожиданно чихнул, цыганенок отскочил в сторону и затараторил:

– Дядя, дай денежку, дай! На животе спляшу.

Мужчина еще раз чихнул. Цыганенок подпрыгнул и заголосил:

Сковорода, сковорода...

В конце перрона помещался буфет. Кожин с Овсовым заглянули в приоткрытую дверь, подумали и молча вошли. Буфетчица, зажав между коленями насос, с грохотом накачала две кружки пива.

Василий Ильич, отхлебнув глоток, грустно улыбнулся:

– Ну, вот теперь, Матвей Савельич, кажется, все. Последние часы я здесь.

Кожин, потягивая пиво, пытливо взглянул в глаза Овсова.

– Как дальше жить думаешь?

Василий Ильич склонился над столом.

– Пенсию буду хлопотать.

– А лет-то хватит? Выработал?

– Нет, пожалуй, не хватит. У меня большой перерыв был. Тяжело мне. Кожин опорожнил кружку.

– Тяжело, говоришь? Это верно, – и он неторопливо расстегнул пиджак, вынул из кармана лист, свернутый в трубку.

– На, возьми и порви договор. Деньги-то еще не все выплачены, а что взял – вернешь Михаилу помаленьку.

Василий Ильич взял договор, машинально развернул его и долго держал развернутый лист, о чем-то думая. Потом свернул его и подал Матвею.

– Матвей Савельич, деревня-то не та.

Матвей не ответил. Василий Ильич перегнулся через стол, схватил Кожина за рукав и начал торопливо и бессвязно убеждать, что в Лукашах жить нет интереса, что здесь так же беспокойно и хлопотно, как и в городе. Матвей, слушая его, мрачнел. А когда Василий Ильич выдохся и с пугливой улыбкой взглянул на него, Матвей запрятал договор глубоко в карман.

– Как хочешь. Смотри, тебе виднее. Только ты знаешь, что Мишка твой дом строит?

– Как строит?!

– Новый будет строить. Ты думаешь, он твоим домом прельстился? За усадьбой он погнался. Да и то, правду надо сказать, что лучше твоей усадьбы в Лукашах не найти. Сухая. Мишка-то боялся, как бы кто другой не перехватил. Да и я доволен. Сын ведь мне. Рядком будем жить... Да... Строит он дом.

– Строит... – как эхо, отозвался Овсов, и перед глазами закачалась вывороченная с корнями береза. «Повис, повис», – прошептал он и, уронив на стол голову, заплакал.

Двое за соседним столом насторожились. Матвей осторожно встал и, взглянув на вздрагивающие плечи Овсова, вышел на улицу.

Солнце медленно закатывалось за плоскую крышу элеватора. По платформе прогуливались две девушки. Заложив руки с портфелем за спину, ходил тощий человек в шляпе. Ноги он ставил так осторожно, как будто боялся оступиться и провалиться в яму.

Далеко раздался гудок паровоза. Рельсы дзинькнули и стали отсчитывать короткие щелчки. К линии вышел дежурный с жезлом. Шум подходившего поезда нарастал. Из-за поворота вынырнул паровоз и, выбрасывая охапками густой дым, устремился к станции...

Промелькнул последний вагон длинного состава, а за ним в вихре неслись обрывки бумаг, сухие листья. Девушки стыдливо зажимали коленями подола своих легких платьев, цыганенок стоял с широко открытым ртом.

Паровоз все еще гудел. Но теперь его густой, трубный голос звучал приглушенно. Он разносился по полям, подернутым синеватой дымкой, по утомленным от жаркого солнца лесам. Затихающий протяжный отголосок висел в теплом вечернем воздухе.

Но вот и эти звуки смолкли, и рельсы перестали стучать. И стало опять тихо и грустно, как это всегда бывает после прошедшего поезда. Матвей Кожин вздохнул, поправил на голове фуражку и пошел разыскивать попутную машину.

Глава тринадцатая

Еще одна бессонная ночь

День начался так же, как и все предыдущие...

Фаддей встал чуть свет. Налил в бутылку молока, отрезал увесистый ломоть хлеба, сложил все в сумку от противогаза. Потом стал не торопясь снаряжаться. Поверх рубахи надел жилет на заячьем меху, на жилет – ватную фуфайку... Подпоясавшись ремнем, старик превратился в бочонок, туго перехваченный обручем. Кнут из-под лавки он достал кочергой. Прежде чем уйти, тихо приоткрыл дверь в горницу...

На кровати, свернувшись клубком, спал Петр. Голову он неудобно согнул, колени подтянул к подбородку. На красной подушке, из углов которой торчали перья, дремал кот. Фаддей взял кота за шиворот и сбросил на пол, а подушку подсунул сыну под голову. Петр обнял подушку и носом ткнулся в ее угол. Перо попало в ноздрю – Петр громко чихнул и открыл глаза. Увидев отца, он приподнялся.

– Что?.. Что случилось?..

– Спи... Я еще скотину не выгонял...

– А-а-а... – Петр зажмурился и, ухватясь за спинку кровати, потянулся.

Полежав минут пять, он спрыгнул на пол, в одном нижнем белье подбежал к окну и долго стоял, прижавшись к стеклу лбом.

Красавица осень догуливала свои последние деньки. Она уже порядком таки пообтрепалась и теперь нехотя сбрасывала свои яркие лохмотья. Гасли желтые факелы берез, ивняк ошетинился тонкими голыми прутьями, догола разделись серые искривленные стволы ольхи, как опаленные торчали стебли крапивы, придорожные канавы, усыпанные листьями, запаршивели. И только загорелые длинные сосны, как и летом, высоко над домами подхватывали своими лапами жиденькую синь неба с редкими облачками.

– Тринадцатое октября, – прошептал Петр. – Тринадцать – чертовое число. А я, – и он стал припоминать, – тринадцатого поехал на фронт... Тринадцатого демобилизовался... И тринадцатого меня избрали председателем... Посмотрим, как будет сегодня...

Сегодня завод должен был дать свою первую продукцию.

Петр быстро оделся. Заправил кровать – на подушку с простынями набросил одеяло. Потом подмел пол – разогнал веником мусор по всем углам избы. Завтрак его состоял из двух блюд: молока с кашей и молока с хлебом. Других блюд еще не успели наготовить, потому что соседка, которая им готовила, только что затопила печь. Петр видел, как по крыше ее дома стлался сизый дымок.

Петр пришел в правление, включил приемник и прослушал последние известия. Потом навел порядок в шкафу и в ящиках стола. Листая журнал «Молодой колхозник», наткнулся на заявление Овсова. Смял заявление и вместе с бумажным хламом запихал в печку. Все это он делал машинально, в мыслях о заводе. Все прежние тревоги, в том числе и тревога за лен, расстил которого колхоз безобразно затянул, померкли: их заглушила тревога за сегодняшний день. Максим Хмелев сказал, что первый блин может быть комом. А он, Петр, не хотел этого кома... Особенно Петр боялся за качество обжига. Обжиг глины должен был проходить при температуре около тысячи градусов. Сможет ли печь дать ее? Об этом беспокоились и сам Матвей, и Журка, и даже Лёха Абарин. Печь топили только березовыми дровами, которые были заготовлены с лета и высушены, как порох. За печкой наблюдали круглосуточно.

«Сегодня все решится...» – стучало в голове председателя.

О дне выемки первой партии кирпича секретарь райкома просил известить его. Просил об этом и директор МТС. В том, что Максимов искренне желал ему удачи, Петр не сомне-

вался, и в то же время боязно ему было: а что, если... провал? В искренности директора он сомневался...

Три дня спустя после памятного бюро в колхоз на полуторке приехал сам директор и привез с собой ремонтников.

– Ну что, нажаловался? – спросил он. – Эх вы, молодежь... Выдержки никакой нет... Разве я против завода? Я сказал, что помогу, вот и приехал помогать. Какая тут дорога? Какой завод? Давай их сюда.

Двое суток директор МТС не вылезал из Лукашей. Руководил работой и даже сам копал ямы под столбы. Уезжая, предъявил командировку и еще потребовал расписку, что работа выполнена в срок, добросовестно и со стороны колхоза претензий не имеется.

– Я сроков не назначал. А зачем расписка? – спросил Петр.

Директор ответил вопросом:

– А если не скажу, то не дашь?

Петр засмеялся и написал, что работа выполнена хорошо.

– А на открытие завода, смотри, пригласи, не забудь, – сказал директор и заторопился поскорее уехать.

«Для приличия сказал... Не приедет... Дай позвоню, – Петр крутнул ручку телефона, но трубку не снял. – А что, если приедет? Обязательно приедет – порадоваться моему провалу».

Пришел счетовод и выложил перед председателем кучу бумаг. Петр начал читать какой-то акт, но ничего не понял. Прочитал еще раз и опять не понял.

– Да что это такое? – воскликнул он и отшвырнул акт в сторону. – Давай, что еще там.

Счетовод подсунул на подпись поручение с банковским чеком. Петр, не глядя, подписал.

– Петр Фаддеич... – простонал счетовод. – Последний чек, и тот испортил!

– Почему испортил?

– Не так расписался. Я постоянно твержу: на чеках надо расписываться одинаково. А вы как маленький...

– А вы бюрократы дохлые! – раздраженно крикнул Петр и выбежал на улицу. Вскочив на велосипед, он погнал его на Лом.

– «Как маленький»... Учитель нашелся, – всю дорогу бормотал Петр. Его злило не то, что сказал счетовод, а то, что тот даже не вспомнил о заводе. Подъезжая к Лому, Петр немного успокоился, но когда увидел Лёху Абарина, спавшего около печки под полушубком, чуть не задохнулся от гнева. Сбросив с Лёхи полушубок, он принялся что есть силы трясти бывшего председателя. Обалдевший Лёха вскочил на ноги.

– Спишь... Спишь... – зловеще прошипел Петр.

– А чего делать? – лениво протянул Лёха.

– «Что делать?»! «Что делать?»! А кто за топкой будет смотреть? У-у-у! Черти!

Лёха равнодушно ответил:

– А чего теперь за ней смотреть?... Со вчерашнего дня не топим.

Петр заглянул в топку. Она была вся темно-малиновая и, словно пухом, одевалась белым пеплом. Чтобы поправить свое поведение перед Лёхой, Петр спросил:

– Как ты думаешь, Алексей Андреич, долго она будет остывать?

– К вечеру должна остыть.

– А что Максим говорил?

– Максим то же говорил: вечером выставлять будем.

– Так и сказал?

– Да, так говорил... А кто его знает – может, и не остынет...

Петр безглаголиво посмотрел на Лёху и, не сказав больше ни слова, поехал в Лукаши. Острое ощущение злости пропало, осталось раздражение, тупое и ноющее.

«Вот взять хоть этого Абару... Сам строил завод, а говорит: «Не знаю, может, и остынет...» Да разве он болеет за него? И все такие, ко всему равнодушные. Как будто это мне одному надо. Я же для них стараюсь...»

Председателю хотелось встретить человека, который бы сказал: «Переживаешь, председатель... Ничего, ничего, потерпи, – все будет хорошо!» Как он хотел этих слов! Но никто его, казалось, не понимал, и каждый тянул свое. Когда он заехал к Матвею в кузницу, тот даже словом не обмолвился о заводе и с полчаса толковал ему об испорченном горне и о подковах. Конь тоже ничего не нашел другого, как завести долгую и нудную беседу о силосе и клевере. Случайно Петр забрел в конюшню и увидел там Екима. Старик чинил хомут, наверное, вдвое его старше и до того ветхий, что если б его ударили об угол, от хомута остались бы пыль да веревки, которыми он весь был перетянут. Петр подсел к Екиму и осторожно заговорил:

– Как ты думаешь, дедушка Еким, хорошая это штука – кирпичный завод для колхоза?

– Знамо, дело хорошее, коль пойдет... – не договорив, Еким стал искать шило.

Петр тупо посмотрел на старика и процедил сквозь зубы:

– Брось эту рухлядь!

– Никак, ты говоришь – лось пухнет? – переспросил старик. – Где? В болоте?

– Хомут! – крикнул председатель. – Чинить еще такую рвань! – Схватив хомут, Петр выбежал из конюшни и, размахнувшись, бросил в канаву, потом, не простясь с Екимом, поехал куда глаза глядят.

Еким покачал головой и, обращаясь к жеребцу, сказал:

– Вот как без бога жить. Видишь, как черти его одолели. Так и шпыняют, так и шпыняют под бока...

До пяти часов вечера Петр бесцельно бродил по Лукашам. Председателя останавливали, о чем-то спрашивали, и он что-то отвечал. Но кто спрашивал и что он отвечал, Петр не помнил.

После того вечера он старался избегать встреч с Ульяной. Ульяна же сменила свою любовь к председателю на лютую ненависть. Когда мимо нее с опущенной головой прошел Петр, она отвернулась и громко сказала:

– Шляются тут разные, малохольные!

В конце концов Петр не выдержал и сам пошел к Максиму. Когда он открыл дверь, ему показалось, что в доме щепают drankу. Петр боязливо переступил порог и увидел на кровати спящего Максима. Тот храпел, открыв рот и уставив в потолок бороду. Петр чуть не заплакал.

– В такой день спать, да еще так бессовестно храпеть!

Он сел на лавку и стал ждать. Прошло пять минут... десять... Нервы председателя натянулись до стога; еще немного – и они бы не выдержали. К счастью, в это время вошла хозяйка – Татьяна Корнилова. Она бесцеремонно взяла Максима за бороду и подняла с кровати.

– Максим Степаныч, скоро будем начинать? – робко спросил Петр.

– Чего начинать? – зевая, спросил Максим.

– Кирпич... Кирпич выставять. Да что вы все позабывали!

– Зачем забывать... Успеет вынуть. Не торопись, Фаддеич... Сейчас редьки поедим...

Потом чаю попьем...

«Ешьте редьку, чай пейте, теперь мне все равно. Если уж вы такие, то и мне на все наплевать... Зачем я только связался с этим заводом?» – Петр почувствовал себя одиноким, всеми покинутым человеком.

Он ел с Максимом редьку, пил чай с медом... Потом они пошли на Лом. Всю дорогу Петра не покидало сознание горького одиночества. «Наверное, больше никто и не придет, кроме нас, Журки и Лёхи», – думал он. До самого завода на дороге действительно никто и не появился. Однако когда они свернули к заводу и за кустами послышался многоголосье, сердце у него екнуло... Он ошибся: пришли почти все. Даже старый Еким приплелся. Он стоял в толпе и, приставив к уху ладонь, на каждый звук, как воробей, поворачивал голову. Когда Петр с Максимом подошли, все расступились, пропустили начальство, а потом опять тесно обступили печь, напоминавшую огромную кучу хвороста. Такие печи, типа лукашевского заводика, обычно глубоко зарывают в землю. Для сохранения жары во время обжига сверху они заваливаются бревнами, сучьями и даже травой.

– Срывай! – скомандовал Максим.

Печку очистили от древесного хлама. Максим натянул рукавицы, взял лом, перекрестился и легонько стукнул. Лом не отскочил и даже не звякнул.

– Глина!

– Глина, глина, – зашумели мужики.

– Это ничего! – крикнул Сашок. – Всегда так бывает. Видишь, какая толщина. Разве ее нашими дровами прожжешь...

Сняли первый ряд, за ним счистили второй, принялись за третий... и все глина... Ноги у Петра обмякли. Не в силах больше стоять, он отошел в сторону и присел на камень... Все в нем как будто онемело – и мышцы, и мозг. Продолжал еще действовать только слух. Он словно даже обострился.

– Плохо топили...

– Печка не годится.

– Плакали наши денежки...

– Сплоховал Фаддеич...

И вдруг голос Журки:

– Недожег пошел!..

Петру подали алого цвета кирпич. Он повертел его и тихонько стукнул. Раздался дребезжащий звук. Он ударил сильнее – кирпич развалился пополам...

Четыре ряда недожога сняли. Мужики примолкли. Только изредка слышался голос Кожина:

– Тише клади. Не бей... Пойдет на кладку печей – там все обожжется.

Петр сидел сгорбясь, вздрагивая при каждом возгласе, и боялся поднять голову. Его вывел из оцепенения глухой бас Максима:

– А ну, председатель, смотри этот!

Петр подбежал к Максиму и протянул руки.

– Осторожней, грабли сожжешь, – предупредил Максим.

Кто-то подал рукавицы. Петр кое-как надел их и осторожно взял двухкилограммовый брус. Он отошел с ним далеко в сторону. Брус имел настоящий кирпичный цвет. Петр стер полоски копоти носовым платком. Потом хотел испробовать кирпич на прочность, но раздумал, положил его на колени и стал гладить, приговаривая:

– Горячий... горячий... какой горячий...

А сзади шумели, кричали, спорили:

– Такого кирпича и на настоящем заводе не выпечешь...

– Ну, там лучше...

– Теперь мы кирпича гору наготовим! – кричал Журка.

– Ровно держи носилки, не трясси. Клади осторожней... Клетку, клетку закладывай, – распоряжался Матвей.

– Я теперь не жалею, что погорел... Новый дом построю, кирпичный! – торопясь, чтобы не перебили, говорил кому-то Сашок.

– Торговать надо... Обязательно торговать. Теперь колхозу деньги – лопатой гребь, – говорил Лёха Абарин.

– Ясно, будем торговать! Дела теперь пойдут!

Петр встал. Кто этого добивался? Он хотел во весь голос крикнуть: «Я! Для вас! А вы мне не верили...» Но ничего не сказал, сунул кирпич под пиджак и, поддерживая его локтем, незаметно ушел.

Эту ночь Петр не спал. Он бродил. Никогда ему не было так легко, как сегодня. Все тяжелое – и тревоги, и пожар, и своя неустроенная жизнь – словно свалилось с него, все поглотила темнота октябрьской ночи... Было странно легко. Ноги несли сами где попало: по мокрой траве, по кустам, по грязи, а Петру казалось, что ходит он по своему колхозному саду, среди яблонь, слив, глотает их аромат. Жидкий, низкорослый ивняк представлялся ему смородиной, крыжовником, корявые ольхи – вишнями... И среди них мелькали веселые лица лукашан. Их было много!.. И все они улыбались председателю...

Петр не заметил, как взошла луна, как она поднялась и, обогнув лес, повисла над Лукашами. Он сильно промок, но не чувствовал холода: за пазухой лежал шершавый, давно остывший, но греющий душу кирпич.

Остановил председателя крик петуха.

– Петух... Почему петух? – спросил Петр и взглянул на часы. Полночь. Петр усмехнулся, поправил фуражку и пошел домой.

Луна бесцеремонно заглядывала в окна лукашан. Ее мутно-белый свет, казалось, заморозил землю. словно схваченная инеем, блестела трава. Вода в реке остановилась и тоже побелела, как будто ее сковало льдом. Мрачно взирал на освещенный луною мир чей-то старый заколоченный дом. Он был темен и глух. Петр остановился и погрозил ему кирпичом.

– Расколоти и тебя! Слышишь ты, расколоти!

1954–1955

Последняя весна

Анастас колотил палкой по ставням и кричал:

– Эй, Стеха! Чего закупорилась? Не вишь – утро? Ставни открой!

Удары раскатывались по селу, а старый пустой дом гудел и ухал, как огромный чугуновый котел.

Потом Анастас поднялся на крыльцо и обалдело уставился на новый тяжелый замок, висевший в кованых пробоях двери.

– Откуда такой замок взялся? Кажись, у меня такого и не было. Разве что Стеха купила.

Анастас принялся искать ключ. Он обшарил щели и дырки в дверях, перещупал пазы бревен, перевернул полусгнившие ступени крыльца. Когда все было ощупано, обшарено, перевернуто вплоть до кирпичей под окнами, Анастаса взяла оторопь.

– Куда же она его запрятала? Разве что в собачьей будке посмотреть. – И он пошел в сад.

В былые времена, когда он был молод и когда еще был жив беззлобный и брехливый «дворянин» Полкан, будка служила надежным семейным тайником для ключа. Но пес давно издох, будка давно сгнила, и Анастас давно состарился.

Старик бродил по саду меж одичавших кустов смородины и крыжовника. Он забыл про ключ: теперь его одолевали другие мысли. Он негодовал на жену Стеху, на сына с невесткой за то, что они своей беспечностью и бесхозяйственностью погубили дивный сад. Пышную бесплодную яблоню и полузасохшую грушу он скверно выругал, грозился начисто вырубить буйный вишеник. Но злость и обида скоро прошли, их сменила тупая усталость. Дойдя до колодца, он присел на источенный червями трухлявый сруб.

На старика снизошло небытие. Последнее время оно все чаще и подолгу одолевало Анастаса. Сердце еще качало кровь, но уже не способно было чувствовать. Он неподвижно сидел на срубе и широко раскрытыми глазами смотрел на мир. Видел ли он что-нибудь – трудно сказать.

Стояло бабье лето, ясное, безмолвное и грустное, по утрам знобкое, днем жаркое, а ночью холодное. Прозрачная паутина, словно сети, опутала длинный забор. На дуплистом липе с блекло-зеленого листка плавно спускался паук. Дружная семья коренастых одуванчиков расцветала вторым цветом, и он был ярко-желтый, как само солнце.

Голоногая с хитрыми зелеными глазами девчонка пролезла сквозь тын, подпрыгивая, подбежала к колодцу:

– Дедушка Анастас, айда завтракать!

Старик не пошевелился и продолжал смотреть в одну точку. Девочка пососала палец, потопала босыми, красными от холодной росы ногами, потом присела на корточки и заглянула в глаза Анастаса. Они были круглые, оловянные и смотрели не мигая, как у слепого. Девочке стало страшно. Она вскочила и со всех ног бросилась от колодца. Но, добежав до забора, остановилась и, постояв немного, вернулась назад. Старик сидел в прежней позе. Девочка, замирая от страха, с какой-то отчаянной решимостью дернула Анастаса за рукав рубахи:

– Дедка, пойдем домой!

Анастас вздрогнул и удивленно посмотрел на девчонку:

– А? Чего ты говоришь-то?

Девочка подпрыгнула и засмеялась:

– Зову, зову, а ты как глухой. Пора завтракать. Картошка стынет, и мамка ругается, – радостно, без передышки сыпала она и тянула Анастаса за руку. Он едва поспевал за ней и широко, бессмысленно улыбался.

Они вышли из сада, обогнули дом с наглухо заколоченными окнами, и тут Анастас решительно заупрямился:

– Куда ты меня, пострел, тянешь? Вот ведь дом-то мой.

Девочка всплеснула руками:

– Ой, какой же ты смешной, дедушка!

Анастас повернул назад, к крыльцу своего дома. Девочка догнала старика, вцепилась в подол рубахи и заревела.

Анастас остановился:

– Ну, ну, не плачь, глупая. Экая глупая.

– Зачем ты меня пугаешь? – глотая слезы, сказала она. – Небось и картошка остыла, и мамка ругается.

– Ну коли так, идем же скорее, – охотно согласился Анастас и опять направился к своему дому.

– Да не туда! – закричала девчонка и сердито топнула ногой. – У, какой упрямый, как бык!

– Как не туда? – удивился старик. – Вот ведь мой дом.

– А вот и нет. Теперь ты у нас живешь.

– У кого – у вас?

– У нас. У папки моего, Ивана Лукова.

Старик махнул рукой:

– Эва что придумает. В чужом доме жить. А свой на что?

– Там теперь никто не живет...

– Как «никто»? А я... А баба моя... Сын мой, Андрей Анастасьич. Эка ты глупая девка-то. – Старик привлек к себе девочку и подолом рубахи вытер ей мокрый нос. Она прижалась к Анастасу. Он гладил ее всклокоченные волосы и как мог успокаивал.

– И совсем не глупая. И совсем не глупая, – всхлипывая, говорила девочка. – Ты сам все забыл. Все, все на свете, и бабушка твоя померла.

– Кто – «померла»? – переспросил старик.

– Твоя бабушка Степанида. Совсем недавно ее похоронили.

– Похоронили Стешу? Вона что... – Анастас поднял вверх голову и перекрестился.

– Пойдем, дедушка Анастас.

Она тихо потянула старика за руку, и он покорно поплелся за ней...

Анастас Захарович Засухин страдал провалом памяти. Болезнь то внезапно наваливалась на Анастаса, то так же внезапно оставляла его. Первый раз она посетила Анастаса пятнадцать лет назад, после того как он сжег колхозную ригу со льном. По этому случаю Засухина вызвали в прокуратуру к следователю. Перепуганный насмерть Анастас, до этого не имевший никакого понятия ни о судьях, ни о прокурорах, внезапно все забыл и на вопрос следователя: «Расскажите, как было дело?» – ответил вопросом: «Какое еще дело?»

Следователь улыбнулся:

– Ты мне не строй злоумышленника. Рассказывай, как спалил ригу.

Анастас обалдело уставился на следователя:

– Какую еще ригу?

– Обыкновенную ригу, колхозную, со льном, – пояснил следователь.

– Да нешто я ее спалил? – удивленно протянул Анастас.

– Точно, спалил, и головешек не осталось.

– Вона что... А я-то что-то и не припомню.

– «Не припомню»... Забавный тип ты, Засухин. Прямо по Чехову жаришь, – засмеялся следователь и, резко оборвав смех, принял строгий вид. – Вот что, дорогой мой, о том, что ты спалил ригу, всем известно, и доказательств не требуется. Понятно?

– Так-так, – подтвердил Анастас.

Следователь откинулся на спинку стула. Высоко вскинул брови и показал Анастасу палец.

– Мне важно знать, был ли умысел или простая небрежность. – Следователь описал пальцем круг и продолжал: – Умысел бывает косвенный и прямой. Понимаешь, Засухин?

– Так-так, – заулыбался Анастас, следя, как тонкий палец следователя мелькает перед его носом.

Улыбку Анастаса следователь почему-то принял за насмешку. Он густо покраснел и резко сменил добродушный тон на грубый:

– Ты мне не прикидывайся. А говори прямо. Нарочно спалил ригу или так, по халатности?

– Чего ты мне говоришь-то? Кто кого спалил? – наивно переспросил Анастас и окончательно восстановил против себя следователя, который, в сущности-то, и не желал старику зла.

Следователь вел порученное ему уголовное дело. Он был молодой, горячий, в своей работе превыше всего ставил объективность и беспристрастность. Дело о поджоге он относил к делам бесспорным и пустячным, отлично видел, что обвиняемый – не преступник: просто недоразвитый колхозник; знал, что и ригу он сжег без умысла: уснул и сам чуть не сгорел вместе с ней; и был уверен, что наказание ему будет условное. Следователь и сам бы мог внести в протокол нужные ему показания, и, конечно, обвиняемый, не читая, подписался бы под ними. Но где тогда объективность? И ради этой объективности он добивался от Анастаса одного только слова «уснул». Ему очень хотелось подсказать это слово Анастасу. Но не мог: мешала беспристрастность. И он продолжал допрашивать Анастаса. Доведенный до бешенства его ответами: «Какое дело?..» и «Да нешто это я?..» – следователь арестовал старика и, провожая его в камеру, сказал:

– Подумаешь сутки-другие – как миленький заговоришь.

Прошли сутки, другие, третьи – Засухин не заговорил «как надо». Его направили на судебно-психиатрическую экспертизу.

В больнице к Анастасу внезапно вернулась память, и он сказал то заветное слово, которого так упорно добивался молодой следователь. А в суде опять забыл. Суд не был так щепетильно объективен, как следователь, и чтобы поскорее развязаться с затянувшимся делом, приговорил Анастаса к условному наказанию. В колхозе условное осуждение расценили как чистое оправдание. «Придуривался, придуривался и вылез сухим. Вот уж придурок так придурок», – долго судачил народ. Кличку «придурок» он носил пять лет, пока колхозники не убедились, что у Засухина и в самом деле не все дома. На общем собрании, когда решался вопрос о распахке залежных земель, Анастас Засухин неожиданно для всех заявил, что давно пора заняться «черным переделом».

В период провала памяти Анастаса одолевало тупое безразличие ко всему. Когда же она возвращалась, Анастаса охватывала бурная деятельность.

Засухин находился в полном сознании, когда гроб с его Стехой опустили в могилу. Он первым бросил горсть земли, низко поклонился и сказал: «До скорой встречи, Стеша». А на поминках произошел конфуз.

Перед первой скорбной стопкой Анастас что-то хотел сказать, но, не найдя слов, тяжело вздохнул, выпил и, не закусывая, долго сидел, качая головой из стороны в сторону. Налили по второй. Анастас неожиданно взбодрился.

– Нам жить, а Степаниде Мироновне гнить!

Гости потупились, а пышная, грудастая жена сына, приехавшая из города на похороны, поморщилась и сказала мужу:

– Андрей, не давай ему больше. Да и сам не нагружайся.

– Батя, хватит тебе. – Андрей хотел взять из рук отца бутылку.

– Эх, сынок, горе-то какое, а ты – «хватит». – Анастас до краев налил стопку и, тряхнув головой, крикнул: – Гости дорогие! Выпьем за Степаниду Мироновну! Нехай ей там легко гнить, а нам тут весело жить!

Захмелевшие гости дружно выпили. И так перед каждой стопкой Анастас возбужденно продолжал выкрикивать: «Нам весело жить, Степаниде Мироновне гнить». А потом запел высоко и нестройно: «Снеги белые пушистые...» – и, резко оборвав песню, вскочил и топнул ногой:

– А ну, Стеха, выходи!

Все онемели. А Анастас бил каблуком, хлопал себя ладонями по груди и коленям и продолжал настойчиво вызывать свою Стеху...

Утром, после поминок, Андрей с женой, Зинаидой Петровной, под руки привели Анастаса в дом соседа Ивана Лукова и положили в темном углу за печкой на узкую железную кровать. Анастас покорно лег на тугой соломенный матрац, заложил руки за голову. Сноха стащила с Анастаса валенки, накрыла старика одеялом и сказала:

– Здесь ему будет хорошо.

Анастас, пристально и нежно смотревший на сына, пошевелился, перевел глаза на сноху и тихо ответил:

– Куда ж еще лучше. И печка рядом.

Андрей присел к отцу на кровать. Анастас положил на плечо сына руку. Андрей поежился, поспешно вытащил из кармана сигаретницу... И пока он курил, Анастас ласково гладил плечо сына. Молчание было всем в тягость. Иван Луков и его жена Настя не поднимали глаз от полу и только изредка переглядывались. Зинаида Петровна рассматривала обстановку колхозной избы. Она была слишком простой: пестрые занавески на окнах, стол, десяток стульев, самодельный платяной шкаф, никелированная кровать с горой подушек, приемник «Заря».

«Боже мой, какая убогость», – подумала Зинаида Петровна и, тронув Настю за локоть, как бы извиняясь, сказала:

– Ему у вас будет очень хорошо. Комната теплая. – Она хотела сказать «уютная», но постеснялась и сказала «теплая».

Настя, исподлобья бросив злобный взгляд на Засухину, отрезала:

– Какая уж есть.

– Да, да, очень милая, очень милая, – поспешно заверила Зинаида Петровна и обратилась к мужу: – Андрюша, нам пора.

– Успеешь! – резко ответил Андрей и крепко сжал руку Анастаса. – Отец, ты будешь жить здесь. Понимаешь?

Анастас пристально смотрел на сына.

– У соседа, Ивана Лукова. Понимаешь?

Анастас, не отвечая, продолжал разглядывать сына.

– Что же ты молчишь, отец?

Анастас приподнял голову и улыбнулся наивно, по-детски:

– Чего ты говоришь-то?

– Ты, отец, будешь жить здесь, у Ивана Лукова, – повторил Андрей.

– Эва, у чужих людей жить. А свой-то дом на что? – возразил Анастас.

– Так надо, отец.

– Ну коли так надо, тогда что ж, поживу, – нехотя согласился старик.

– Ну вот и молодец, – обрадованно подхватил Андрей, – а через год мы тебя заберем в город. Понимаешь?

Анастас кивнул головой, пожевал губами и тихо спросил:

– Старуха-то моя разве уж померла?

– Да, отец.

Анастас отвернулся к стене и натянул на голову одеяло. Когда Андрей с Зинаидой Петровой выходили из дому, Настя плюнула им вслед и сказала:

– Бесстыжие, охламоны!

– Шаромыжники! А ну их... – добавил Иван и крепкими матюками обложил Засухиных.

Через полчаса Анастас сидел за столом между старшей дочерью Луковых Раей и младшей Лидочкой. Он хлебал из общей алюминиевой миски мясной наваристый суп, хлебал и похваливал.

Супруги Луковы, приняв в дом Анастаса, с первого же дня зачислили его равноправным членом семьи. Это означало для Анастаса: ешь, пей, спи. Надо будет – выругают или пожалеют; о каких-либо привилегиях или особом внимании и не мечтай. Они твердо верили, что особое внимание не только балует, но и унижает человека.

Настя днями пропадала на молочной ферме, Иван – в строительной бригаде. Старшая дочь училась и после уроков помогала матери на ферме. Лидочка совсем была мала: она первый год ходила в школу.

Несколько дней Анастас пластом лежал на койке, не отрываясь смотрел в потолок и что-то шептал про себя. Лидочка прибежала из школы, всплескивала ладошками, качала головой и, как взрослая, говорила нараспев:

– Надо же подумать – все лежит. И как тебе, дед, не надоест лежать?

Анастас слушал, улыбался, поглаживал бороду.

– Вот еще, улыбается, как маленький! – нарочито возмущенным голосом выкрикивала Лидочка и, подскочив к Анастасу, принималась тормошить его: – Вставай, вставай, а то пролежни належишь. Да ну вставай, дед, обедать будем!

При слове «обед» старик поднимался, опускал на пол ноги. Лидочка усаживала деда за стол, потом доставала из подпола отпотевшую крынку с молоком.

Как-то Лидочке вздумалось накормить Анастаса щами. Длинной кочергой она подцепила в печке полуведерный чугунок со щами и опрокинула его. Перепуганная насмерть Лидочка не знала, куда спрятаться. Она очень боялась матери, у которой был вспыльчивый характер и хлесткая рука.

Когда Настя пришла с работы и увидела в печке перевернутый котел, она позеленела от злости и, вытащив из веника прут, бросилась искать дочку. Заглянула под кровать, слезила в подпол, на чердак, обшарила все углы в сених, во дворе и, не найдя, пообещала расправиться с ней, как только явится домой.

Начало смеркаться. Прибежала с фермы Рая, вскоре пришел с работы и отец. Пора было ужинать, Лида не являлась. Настя забеспокоилась. Уже совсем стемнело, когда Луковы отправились искать дочку. Поиски были долгими и шумными: вся деревня поднялась на ноги. Настя, обезумев, носилась по улице, истошным голосом вызывала Лиду. Она вначале грозилась запороть ее до смерти, потом начала умолять и клясться, что ей ничего не будет, а потом заревела на всю деревню дурным голосом.

Была глубокая ночь, когда Луковы вернулись домой ни с чем. Настя неутешно плакала. Молчаливый Иван грубо прикрикнул на нее и приказал собирать ужин. Настя, глотая слезы, накрыла стол и пошла будить Анастаса. Откинув одеяло, она радостно заголосила:

– Ах ты, негодная овца! Что же ты со мной делаешь?!

Под боком Анастаса, свернувшись, безмятежно посапывала Лида.

Так между старым и малой завязалась дружба. Лида отца не боялась. У него хоть на голове пляши, слова не скажет. Зато матери под горячую руку не попадайся. И Анастас

явился для нее надежной защитой. Когда после очередной проказы Лида пряталась за спину Анастаса, Настя ее не трогала, а только грозила:

– Ну, погоди, выпорю так выпорю – живого места не оставлю.

Прошла неделя. Анастас не выходил из дому. Почти все время лежал в своем углу, уставясь в потолок, вытянув поверх одеяла длинные вялые руки... И вдруг в то утро пропал...

Лидочка разыскала старика в саду и привела домой. Настя резко отчитала Анастаса:

– Ты куда ушел без спроса, а? Кто тебе такую волю дал? А?

– Как куда? Гулять, – невозмутимо ответил Анастас.

– Какой гулена нашелся! Ты посмотри только на себя. Срам. А рубаха-то, рубаха! Словно ее корова жевала. Лида, достань-ка из комода батькину красную рубаху.

Напяливая на Анастаса рубаху, Настя продолжала пилить старика:

– И зачем я навязала тебя на свою шею? Потому что дура, вот зачем. Ты думаешь, велика мне радость – твои двадцать рублей? Да разве это деньги? Тьфу! Я сама на ферме много больше выгоняю.

– Мамка, хватит ругаться, – укоризненно протянула Лида.

– Я не ругаюсь, правду говорю. А правду никому не побоюсь в глаза сказать, – отрезала Настя и критически осмотрела наряд Анастаса. – Не очень-то чтоб очень. Ну да не на свадьбу... Разве что воротник сузить.

В широкой Ивановой рубахе Анастас утонул. Торчала лишь круглая, как клубок шерсти, голова с маленьким скомканным лицом. Настя подшила воротник, застегнула пуговицы и, спрятав подол рубахи старику в штаны, погрозила пальцем:

– Взяла я тебя из жалости. А коли так – соблюдай порядок... дисциплину. А будешь нарушать мою дисциплину, так я быстро распоряжусь – в багаж и на станцию. Пусть с тобой в городе культурные нянчатся, а у меня, запомни, не богадельня.

Анастас слушал, улыбался, и трудно было понять, чему он радовался. Тому, что его приютили из жалости, или тому, что на нем новая красная рубаха, которая старику очень нравилась.

На другой день с утра он опять околачивал палкой дощатые ступени. На третий день – тоже. И все чаще и подолгу пропадал в саду. К нему возвращалась жажда деятельности. Он вдруг принимался окапывать давно одичавший куст крыжовника и работал до тех пор, пока его взгляд случайно не останавливался на куче дров. Он бросал лопату и шел укладывать в поленницу дрова. Но и это дело быстро забывал и начинал заделывать дупло старой липы. Липа была ровесница Анастасу и готовилась при первом сильном ветре свалиться. Сердцевина у нее сгнила, и ствол при ударе гудел, как труба. Эта работа тоже скоро останавливалась из-за консервной банки, которая случайно попадала старику под ноги. Анастас поднимал банку, вытряхивал из нее мусор и радовался как ребенок:

– Эка, банка хороша! Как раз для червяков на рыбалку.

В нем пробуждалась хозяйственная жилка, и хотя занятия старика были наивны и бесполезны, в них проглядывали проблески сознания. И медленно возвращалась память. Луковы ни в чем не ограничивали старика и предоставили ему полную свободу. Они, по-видимому, считали, что чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, хотя потом и расказывались.

Старая полудикая груша, родившая мелкие, как орех, и страшно кислые плоды, наполовину высохла. Анастас решил ее малость окультурить. По лестнице с ножовкой в руках он влез на грушу и энергично принялся спиливать отмершие сучья. Старику помогала Лидочка: она подбирала сучки и складывала их в кучу. Груша была начисто обрита, оставался один небольшой сучок. Анастас, бросив на землю ножовку, потянулся к сучку и, потеряв равновесие, опрокинулся с лестницей. Когда Лидочка подбежала к нему, Анастас лежал на спине.

Иван Луков перебирал пол в колхозной бане, когда прибежала посиневшая от страха Лидочка и, уткнувшись в колени отца, заголосила:

– Дедка Анастас разбился!

Невозмутимый Иван только крикнул и, поставив дочку на ноги, корявой, как дерюга, ладонью вытер ее мокрое лицо.

Когда Иван распахнул калитку в сад, Анастас сидел, привалившись спиной к стволу груши. Иван подошел к нему и долго в упор разглядывал старика. Анастас смотрел на Лукова, и в глазах его, обычно тусклых и пустых, стояла безысходная тоска.

Иван опустился на колени, вытащил коробку с махоркой, скрутил толстую, как сигара, сигарку, глубоко затянулся и, выдохнув дым в лицо Анастаса, спросил:

– Мостолыги-то целы?

– Кажись, целы, – пробормотал Анастас.

Прошло добрых пять минут, пока Иван накурился; он раздавил о каблук окурок и наконец, собравшись с мыслями, сказал:

– Проверься хорошенько. Если что, так враз машину и в больницу наладим.

– Проверялся... ничего. Только вот в плече да... в затылке гудёт.

– Дюже гудёт?

Анастас болезненно сморщился:

– Не так чтоб дюже, а гудёт.

– Тогда ничего. Погудёт и бросит, – заверил Иван, одной рукой подхватил под мышку лестницу, другой – Анастаса.

Старик хоть и медленно, но твердо переставлял ноги. Проходя мимо дома со слепыми окнами и тяжелым замком на дверях, Анастас мельком взглянул на него и, растягивая слова, спросил:

– У тебя живу-то, что ль?

– Ага, – ответил Иван.

– Так-так... – Анастас остановился, потер лоб, потом затылок. – Это значит, так Андрей распорядился?

Иван задумался; осторожно опустил Анастаса на землю, сел рядом.

– Она.

– Так-так... Выходит, что она всему голова.

– Голова баба. Крепкая голова.

Иван Луков никогда ничему не удивлялся и ни о чем не сокрушался, на жизнь смотрел просто и практично. Он был от природы грубоват. Но грубость его не перерастала в пошлость и не была оскорбительна. Она служила ширмой, за которой Луков скрывал свою простоватость и безволие. Настя еще девкой раскусила характер Ивана и женила его на себе. Сразу же после свадьбы он попал под каблук горячей и упрямой жены. Настя командовала мужем как хотела, а он, хотя и ворчливо и нехотя, во всем подчинялся. Дочери тоже учились у матери командовать отцом, хотя и любили его больше, чем Настю.

Иван решил, что уж если Анастас в таком возрасте упал с дерева и не рассыпался, значит, старик крепкий и выживет без врачей. Настя же решила по-своему и наутро погнала Ивана в больницу за доктором.

Доктор выслушал, выстукал Анастаса, сказал что-то непонятное и уехал, предупредив, что если старику будет хуже, немедленно везти в больницу.

Анастасу не было ни лучше, ни хуже. Теперь он находился в полном рассудке, но говорил мало и с передышками. Кашлять старику было трудно, и он только кричал, слабо и жалобно. Настя уговаривала старика сообщить о болезни сыну. А когда он наотрез отказался, она сама украдкой отослала в город письмо.

Ответ пришел скоро. Зинаида Петровна посылала Луковым тысячу теплых приветов, униженно просила приглядеть за домом и беречь сад. О старике она вспомнила в конце письма, пообещав, что если ему будет совсем плохо, то Андрей обязательно приедет. Настя расценила ответ так, что старик им вовсе не нужен и если они и приедут, то разве что на похороны. Глубоко задетая за живое, Настя стремительно прошла за печку к Анастасу, но, увидев торчащую из-под одеяла голову, обросшую белыми мягкими волосами, круглые грустные глаза, бессильные тонкие руки, смогла выдать только одно слово: «Дедушка...» Злость мгновенно остыла. Настя подоткнула под бока Анастаса одеяло и, смяв в кулаке письмо, тихо вышла из дому.

Анастас старался болеть как можно тише. Он с горькой обидой сознавал, что уж если стал в тягость родному сыну, то каким же неприятным, ненужным грузом он лег на плечи чужих людей, бескорыстно приютивших его, никудашного старика. Анастас, давно потерявший веру в бога, теперь горячо, до слез умолял его вернуть ему здоровье. И оно медленно, нехотя возвращалось к старику.

Когда Иван с Настей уходили на работу, а девочки в школу, Анастас с трудом и оханьем сползал с койки, добирался до приемника, включал его и, подвинув стул к окну, садился, облокотясь на подоконник. И потому, что слух жадно ловил голоса приемника; и потому, что, сидя в этой теплой, насквозь пропахшей ржаным хлебом и кислыми щами избе, он явственно ощущал, как разгуливает ветерок на улице; и потому, что чуть теплое солнце все еще золотило пожухлую стерню полей, а под окнами куст сирени с темно-зелеными листьями все еще нежился, перед тем как его охватит осенний морозец, – старик сознавал, что ему тоже очень хочется жить, и чувствовал, что он обязательно будет жить и что силы вот-вот вернуться к нему.

Первой приходила из школы Лидочка. И сразу, с порога, начинала выкладывать Анастасу последние новости.

– Дедка, ты знаешь, на крыше клуба ставят антенну. Ужась какую высокую, даже макушки не видно!.. – захлебываясь от радости, кричала Лида.

– А зачем она, эта антенна? – интересовался Анастас.

– Для телевизора. В клуб телевизор новый привезли, и говорят, очень дорогой. Мы с тобой будем, дедушка, ходить на телевизор. Правда, хорошо, когда есть телевизор?

– На что ж еще лучше, – соглашался Анастас.

Лида, не дав деду поговорить о телевизоре, сообщала очередную, не менее важную новость:

– Степку из школы выгнали. Так и надо ему! Взял, дурак, оборвал с кустов перец и давай девчонок по губам мазать; меня тоже два раза мазнул. Ужась как жгло.

– Пороть стервеца надо за такие дела.

– Теперь пороть, дедушка, запрещено.

– А что же с ним делать?

– Воспитывать, воспитывать! – хлопая в ладоши, кричала, припрыгивая Лидочка. – А нашу Райку в газете пропечатали. Вот потеха: учится хуже всех, а ее в газету.

– Не может быть такого, – сомневался Анастас.

– Зато она хорошо работает на ферме. А теперь производственная учеба – выше школьной... вот! – пояснила Лида. – А я все равно не пойду на ферму... хоть убей.

– А куда же ты пойдешь? – спрашивал Анастас.

Лидочка, подпирая кулачком щеку, задумчиво глядела в потолок.

– Я еще сама точно не решила. Не знаю, что лучше. Или в детском саду ребятишек нянчить, или яблоки караулить. – И, спохватившись, решительно заявляла: – Ты, дед, сиди тихо и не мешай мне уроки делать.

Она вытряхивала из сумки на стол книжки с тетрадками и вместе с ними недоеденный кусок пирога, а потом взбиралась с ногами на стул, наваливалась грудью на край стола и, высунув язычок, пытаясь, выводила острые, как частокол, буквы. Стол был высок для Лиды. На нем ели, шили, гладили и долгими зимними вечерами играли в карты. Анастас думал: вот как поправится, смастерит для Лидочки удобный столик.

Вечером после ужина Анастас шел в свой угол, валился на жесткий матрац и, заложив руки за голову, шумно вздыхал. Иван подвигал к койке табурет, садился и собирался с мыслями, чтобы завести с Анастасом умный, дельный разговор. Но мысли в его голове ворочались тяжело, неуклюже, как жернова. И он никак не мог придумать, с чего же начать. Анастас первым начинал нужный разговор, над которым так мучительно думал Луков:

– Строиться тебе надо, Иван Нилыч.

Иван, сделав последнюю глубокую затяжку, выдыхал вместе с дымком:

– И то надо. Лес-то у меня давно заготовлен.

– Хороший лес?

– Ничего лес-то. Ладный лес-то. На избу с кухней.

– Плотников будешь нанимать аль сам?

– И сам, и плотников. – И после долгого молчания добавлял: – А тебя, Анастас Захарыч, буду просить. Уважь, сосед, пусти в свой дом пожить, пока строюсь.

– Эва какой разговор. Да хоть завтра перебирайся и живи, – обрадованно говорил Анастас.

Луков удовлетворенно кричал и сворачивал толстую, с оглоблю, сигарку. Анастас улыбался и, хитро подмигивая, спрашивал:

– Деньжат-то небось припас на стройку?

– Ничего, хватит. В этом году мы неплохо вкалывали с Настюхой.

– Сколько же на трудовень-то пришлось? – любопытствовал Анастас.

– Ох-ха-ха! – раскачиваясь, хохотал Иван. – Отстал ты, Захарыч. Теперь у нас как на производстве: поработал – и хрустики на бочку. Денежная оплата. Настя, подай-ка мне расценку, – приказывал Иван.

Листая толстыми, неуклюжими пальцами тоненькую книжицу расценок колхозных работ, Луков, широко улыбаясь, пояснил:

– Вот тут, как в стекло, смотришь и видишь, за что вкалываешь. Полюбопытствуй, Захарыч!

Анастас углублялся в изучение книжицы, поминутно вставляя свои соображения:

– Плотницкие работы занижены. А вот заработки на ферме высокие.

– Малость высоки, – соглашался Иван.

Эти слова, словно иглы, впивались в сердце хозяйки.

– Ах ты, чурбан немытый, – начинала она с низких клокочущих нот. – А ты поди сам да поработай на ферме. Небось перекуры по часу строить не будешь. – Голос у Насти поднимался, наливался звоном: – Расценки на ферме высокие?! Позавидовали, черти полосатые! А на других работах какие расценки? Туда вы не смотрите! С жита галок гонять – три рубля в день! А кого на эту работу назначили? Последнего лодыря Мишку Силакова. Да моя Лидка с этой работой справится. А он, здоровенный мужик, сидит под кустом и в чистое небо плюет. В день раз плюнет – три рубля в кармане. Разве же это не срамота?! Ты слышал, чтоб хоть раз Мишка стрельнул? И не стрельнет, потому что этот паразит копейки щербатой на порох не истратит. А ему три рубля положи! За что?... За что, я вас спрашиваю?! – кричала Настя, и голос у нее свистел фистулой.

– Ты чего орешь-то на нас? Поди в правление и ори, – равнодушно откликнулся Иван.

– И пойду, и скажу! Все скажу. Я их, мазуриков, выведу на чистую водицу! – надрывно орала Настя.

Язык у Насти был острый, злой, беспощадный. Ее память хранила неистощимый запас ругательств, изумительно метких и язвительных. И она не переводя дыхания сыпала их и на лодыря Мишку Силакова, и на председателя, и на все правление, и на невозмутимого мужа, и на ни в чем не повинного Анастаса.

Старик слушал ее, закрыв глаза, и удивлялся, с чего это баба разошлась. Иван давно уже не слушал жену: он размышлял, о чем бы ему еще поговорить с Анастасом. Настя, видя, что ее гнев все равно что гроза в пустом поле, схватила полотенце и начала обхлестывать мужа, приговаривая:

– Это тебе за высокие расценки. Не сбивай людей с панталыку.

Иван изловчился, перехватил руку Насти и прохрипел:

– Ты чего это, а? Смотри! А то как вертану – кишки вокруг хребтины смотаются.

Настя, уловив в глазах мужа бычью ярость, стихла. И Луков снова завел разговор с Анастасом:

– Захарыч, ты слышал – нашего председателя сильно хвалили в газете. – И, усмехнувшись, покачал головой. – Вот чудеса!

– За что же?

– За хорошее руководство.

Анастас смеется.

– Молодец наш председатель.

– Голова председатель, хитрая голова.

Они опять надолго замолкают. Иван успевает за это время обдумать очередной умный вопрос.

– А вот, – начинает Анастас, – ты говоришь, хитер наш председатель. Это верно, хитер. Да не больно умен.

Иван пристально смотрит на Анастаса и скребет небритый подбородок:

– Это как же так понять, Захарыч?

– По деньгам ходит и не видит этих денег... Ты вот слушай, что я тебе скажу. Важная думка застряла в моей голове. Если мне не доведется ее поведать народу, так ты ее поведай. Потому как скрывать ее дальше нельзя. – Старик вздохнул и задумался. – А я ее скрывал от народа сорок лет... А зачем? Сам теперь не знаю... Наверное, от глупости да от жадности... Подло скрывать добро от народа. Это я только сейчас понял. Да слишком поздно.

– Конечно, нельзя скрывать, – поспешно соглашается Иван, хотя не понимает, о каких это таинственных деньгах толкует старик, по которым председатель ходит и не видит.

Анастас приподнимает с подушки голову и говорит полупшепотом:

– А деньги-то, сосед, лежат у реки, на залидном лугу.

Иван, раскрыв рот, очумело смотрит на Анастаса:

– Клад?

– Богатый клад... Ты знаешь три низинные котловины? Те, в которых вода до середины лета держится, а в мокрый год и совсем не высыхает?

– Да ты, никак, о лягушатниках толкуешь? – изумляется Иван.

– О них. А какие там деньжищи зарыты! Только надо уметь их взять.

Луков ухмыляется и качает головой.

– Да ты не трясись своей глупой башкой, а подумай, – вспыхивает Анастас. – Если эти котловины очистить, углубить да соединить с рекой, то что получится? Проточные пруды. Уразумел?

Иван пожимает плечами:

– А на что они, пруды-то? Лягушек разводить?

– Не лягушек, а карпа зеркального. Слыхал о такой рыбе?

– Слыхал, а есть не приходилось. Говорят, сладкая рыба.

Уронив голову на подушку, Анастас размышляет:

– Выгодное это дело для колхоза – рыбоводство. Денежное...

– Оно, конечно, может, и выгодное, да трудное, – возражает Луков.

– А без труда не вытащишь рыбку из пруда, – веско замечает Анастас.

Утомленный разговором, старик закрывает глаза и поворачивается к Ивану спиной. Луков включает приемник и слушает «Последние известия».

Колхозники ложатся спать рано. Еще нет и одиннадцати. Один за другим, как по команде, слепнут дома. За окнами глухая, с непроглядным, низким осенним небом ночь. Ветер раскачивает на столбах электрические фонари. Тускло-желтые пятна света всю ночь до утра ползают по маслянистой, жирной грязи.

Прослушав «Последние известия», Иван выключает приемник и ложится спать. И через минуту густой с переливами храп, словно грохот телеги, раскатывается по тесной избе Луковых. Он не дает уснуть Анастасу, мешает думать. А думы – то до нелепости странные, то ясные и мудрые – всю ночь беспокоят Анастаса. Внезапно его озаряет яркий свет: всплывают милые сердцу картины детства и удалой юности. И вдруг свет погаснет, и откуда-то из темноты выползает гнетущая мысль: «А жизнь-то прожита. А чего ты добился, Анастас? Ничего». Была семья, и не стало ее. Была Степанида, добрая, безропотная жена. Она тайком от него со слезами на глазах просила у бога смерти мужа. И не потому, что она не любила его, нет. Степанида очень любила Анастаса, страдала и мучилась сознанием того, что будет с ее душевнобольным мужем, когда она умрет. Кому он такой нужен? На сына Степанида не надеялась. Она и любила Андрея, и презирала его за то, что он унаследовал ее, а не отцовский характер. Его мягкость и покорность пугали Степаниду.

Предчувствие матери подтвердилось. Сын бросил отца. Отца из жалости подобрали чужие люди. Боль и обида породили в Анастасе злобу к собственному сыну и великую благодарность к соседям Луковым.

«И с какой стати им было связываться со мной, больным стариком?» – спрашивал себя Анастас.

Живя рядом, крыша в крышу, он ни разу не сказал Луковым теплого слова; больше того – из-за какого-то непонятного теперь самолюбия презирал их. Ивана он считал дубоголовым, ленивым мужиком, Настю – вздорной, брехливой бабой. «И вот поди же, приютили, как родного, без упрека, без косого взгляда. За что? Совсем ни за что», – думал и удивлялся Анастас. Правда, иногда брюзжит и ругается Настасья, но ведь ругань-то идет не от сердца, а от несносного характера. Ругает она всех: и колхоз, и председателя, и зоотехника, мужа, дочерей и заодно Анастаса. Работает много и жадно. Улыбается редко. Зато улыбка, мягкая и лучистая, неузнаваемо преображает ее некрасивое лицо.

Глубокое чувство уважения к людям переполняет Анастаса. Он думает и о том, чем может быть полезен колхозу, который не бросил его на произвол судьбы и назначил пожизненную пенсию. И не случайно в голове старика родилась мысль о рыбоводстве, которую так и не понял бестолковый Иван Луков.

Анастасова думка не была новой. Она была подсказана ему еще отцом – скуповатым, расчетливым крестьянином. Анастас тщательно скрывал ее от всех, боялся, как бы кто другой не перехватил. Расстаться Анастасу с этой мечтой было так же тяжело, как трудно было расставаться с собственной землей. Это была жадность глупая, непонятная, свойственная крестьянину-единоличнику.

Анастасу стало стыдно, словно его, старика, поймали за руку, уличили в подлости, в мелком мошенничестве. Зачем он скрывал? От кого он скрывал? От людей, которые в трудный час подали ему руку помощи.

Теперь старик думал о том, как он встанет на ноги, придет к председателю и выложит свою сокровенную мечту. И если председатель откажет, Анастас все равно будет бороться за

нее. Как? Это уже не имело значения. Важно то, что теперь мечта дойдет до народа и народ подхватит ее. Так думал Анастас, и думал долго, упорно, пока не начинало ломить голову.

Под утро старик забывался коротким чутким сном.

Выздоровление подвигалось медленно и затянулось до глубокой осени.

В то утро день начался, как и все предыдущие, с завтрака. Но в поведении Анастаса было что-то новое и странное. Он бодро встал, наскоро умылся и, в ожидании завтрака, суетливо расхаживал, нервно потирая руки. Когда сели за стол, Анастас с жадностью набросился на подогретый вчерашний суп и хлебал его, обжигаясь.

– Куда это ты, дед, торопишься? – ехидно спросила Настя.

– Дела, Настенька, дела, – серьезно ответил Анастас.

Настя, решив, что голова старика опять начала сдавать, горько усмехнулась:

– Какие же это у тебя дела завелись?

– Многие и разные, Настенька. Первым-наперво надо Степаниде могилку поправить. Ты бы мне, Иван Нилыч, топорик подобрал.

Иван пристально посмотрел в глаза Анастасу и кивнул головой:

– Подберу.

– Я тебе подберу! – закричала Настя. – Не видишь разве, что старик опять не в своей тарелке.

Анастас посмотрел на Настю и низко опустил голову:

– Это вы совсем зря и напрасно, Анастасия Павловна. – И опять обратился к Ивану: – А топорик-то мне подбери, Нилыч.

Переубедить Настю в чем-либо было невозможно. Болезненно самолюбивая, она не терпела возражений. Иван в таких случаях во всем с ней соглашался, а делал так, как ему надо было. Если Настя доказывала, что сперва надо починить забор, а потом крышу, муж охотно кивал головой, а сам брал лестницу и взбирался на крышу – штопать дыры. А Настя кричала на всю деревню и грозила кулаком:

– Скатись, черт, скатись! Переломай себе ребра. Ты думаешь – в больницу повезу? И не думай, и не мечтай!

Настя видела, что Анастас «в своей тарелке», а все-таки решила настоять на своем и принялась горячо доказывать, что после болезни необходим покой и здоровый отдых. Но Анастас на все доводы Насти отвечал невозмутимым молчанием.

И Настя прибегла к последней угрозе:

– Иди, иди. Но если опять свалишься, пальцем не пошевелю! – и для убедительности постучала по столу кулаком.

Дул упругий октябрьский ветер, срывая с деревьев блекло-желтые последние листья, сгоняя жидкие белесые облака в грязно-серые кучи. Временами проглядывало солнце, и по бурым промокшим полям шныряли густые тени. Но ветер быстро, словно брезентом, затягивал небо тучами, и опять моросил дождь.

На высоком бугре сиротливо мокло под дождем кладбище. С голых ветвей срывались крупные капли дождя и с глухим шлепаньем падали на пожухлую листву. От этого казалось, что во всех углах кладбища кто-то шепчется и тихо вздыхает.

Могила Степаниды – бесформенная куча песка и глины – осела. По краям на толстых ножках торчали белые одуванчики. Анастас нагнулся, сорвал один и понюхал, потом растер цветок пальцами и опять понюхал. Одуванчик, как и все вокруг, пах осенью.

На елке в густой хвое завозился клест, на голову Анастаса посыпалась шелуха. Анастас погрозил ему пальцем, глубоко вздохнул, надел шапку.

Придя с кладбища, он взялся мастерить крест Степаниде. И весь день дотемна строгал сосновые брусья. Небывалая усталость свалила старика с ног. Он едва дотащился до кровати и мгновенно заснул.

– Вот как наработался, родименький, – заметила Настя и из жалости не стала будить Анастаса к ужину.

Потекли дни, полные утомительного и непосильного для старика труда. Анастас работал лихорадочно, на последнем пределе. Он починил развалившееся крыльцо, перебрал заново вокруг дома ограду, для Лидочки сделал столик и преподнес Насте великолепную ступку, выдолбленную из сухого березового кряжа.

Работа не принесла Анастасу ни утешения, ни здоровья. Старик осунулся и слабел с каждым днем. Он весь как бы обвис. Щеки глубоко ввалились, зеленоватые концы усов опустились ниже подбородка, из орбит выпирали блекло-синие глаза. Не работа, а тоска съедала Анастаса. Стремясь заглушить тоску, старик доводил себя до изнеможения. Настя запретила Анастасу что-либо делать. Но это не привело к лучшему.

Анастас находился в постоянном страхе за будущий день. Он чувствовал, что припадок повторится и что он будет очень опасным, а может быть, и роковым. И старик ждал его с каким-то животным страхом. Мозг у него день ото дня пух, размягчался, туманился. Теперь ему не хотелось принимать пищи. Но он ел, и ел много, потому как знал, что надо есть, и надеялся, что еда поможет ему. Настя с тревогой наблюдала, как тает старик. А таял он на глазах, словно воск. Резко выступили костлявые скулы, нос заострился, вытянулся, сник, как клюв у больной птицы, сухая челюсть отвисла и с трудом закрывала черный рот.

Анастас почти не шутил и не улыбался, ему не хотелось и разговаривать. С утра до сумерек просиживал у окна, угрюмо разглядывая серое тяжелое небо, осклизлый забор, раскисшие капустные гряды с белыми кочерыжками, голый заплаканный куст сирени, а под ним нахохлившихся кур с мокрыми, обвисшими хвостами. Беспрерывно сыпал и сыпал мелкий липкий дождь. И день с утра походил на вечер.

В то утро Анастас, как обычно, встал рано и долго жмурился от яркого солнца. Он подсел к окну и пристально смотрел на длинное, белесое, как гусиное перо, облако. Облако медленно сползло за лес и наконец совсем исчезло. И, куда ни глянь, резала глаза чистая и холодная синь неба.

Анастас позавтракал излишне плотно. Без аппетита съел с картошкой большой жирный кусок говядины, запил его молоком и, почувствовав неимоверную слабость, прилег отдохнуть. Хозяева давно ушли на работу, дети в школу. А старик все еще лежал, пережидая тупую боль в животе. Когда она стихла, Анастас поднялся, старательно вымылся с мылом, подстриг портняжными ножницами бороду. Пристально разглядывая себя в зеркале, он горестно покачал головой и прошептал:

– Кажись, скоро конец.

Потом вытащил из-под койки сундучок, не торопясь любовно перекалывал с места на место свои наряды. Анастас остановился на новой, еще ни разу не надеванной сатиновой черной косоворотке с белыми пуговицами. Он легонько встряхнул ее и, подойдя к зеркалу, примерил. Косоворотка повисла на нем, как на палке. Ворот был непомерно широк, рукава болтались.

– Ну как есть пугало огородное, – усмехнулся старик, подвернул рукава и туго заколол булавкой ворот.

Надев поверх рубахи старенький потертый жилет, он улыбнулся. Жилет обтянул Анастаса и, вместо квадрата на ножках, он стал походить на веретено. Наряд дополнила шляпа с круто загнутыми полями.

А потом Анастас мучительно натягивал на ноги измятые хромовые сапоги с подковками и бесчисленным количеством гвоздей на подметках. Накинув на плечи синий плащ – подарок Андрея, Анастас вышел из дому и степенно, старательно обходя лужи, зашагал по не просохшей после дождя дороге. До центральной усадьбы колхоза его подвез шофер в кабине самосвала.

Ляды – большое село, накрест пересеченное шоссейной и железной дорогами, – грохотало и суетилось. Беспрерывно сновали грузовики, лязгая, проползали длинные составы товарных поездов. И люди все время куда-то торопились, словно тысячу дел переделали и еще столько же спешили сделать.

Суета, шум, лязг угнетали Анастаса. Он здесь не был давно – года два или три, точно не помнит. Анастас и раньше не любил это село за суету и безалаберность. А за это время оно изменилось до неузнаваемости.

Село перестраивалось. Улицы были перерыты, завалены досками, горами кирпича. Рядом с маленькими бревенчатыми почерневшими домиками стояли высокие, длинные и нелепые для села дома. Глядя на них, Анастас размышлял: «Зачем все это? Зачем человеку к небу лазать, когда еще на земле так пусто?»

Правление колхоза разместилось в новом двухэтажном кирпичном доме. В приемной председателя было тесно от просителей. Анастас занял очередь и стал терпеливо дожидаться. Но очередь продвигалась утомительно медленно, и терпение Анастаса стало убывать. Подкралось подозрение, что сегодня можно и не попасть на прием. А попасть надо было только сегодня. Завтра уже будет поздно, и, словно в подтверждение его опасений, за дверью кабинета раздался резкий звонок телефона и сочный акающий голос председателя:

– Да ну?.. Вот тебе на-а-а-а!.. Еду... Сейчас, немедленно.

Из кабинета в коротком дорожном плаще стремительно вышел председатель. Это был полный, рыхлый, как саратовский калач, мужчина. Анастас шагнул ему навстречу, загородил проход и низко поклонился:

– Роман Евсеич, не откажи...

Роман Евсеич был очень самолюбивый и обидчивый председатель: ему казалось, что все не понимают его и недостаточно уважают. Когда Анастас загородил дорогу председателю, Роман Евсеич опешил и не знал, что делать. Его рыхлое лицо вначале вытянулось, а потом смущенно заулыбалось:

– Это совсем ни к чему, папаша. Совершенно ни к чему...

– Дело у меня до тебя, Роман Евсеич. Очень серьезное дело. – Голос у старика задрожал, и он почти со слезами на глазах добавил: – Роман Евсеич, голубчик, не откажи!

На лице Анастаса было столько надежды, мольбы и страха, что председатель как-то неестественно крикнул и, взяв под руку, повел Анастаса в кабинет.

Роман Евсеич терпеливо и внимательно слушал путанный рассказ Анастаса о своей жизни. И ему стало очень жаль этого кроткого, обиженного человека, который всю жизнь, как муравей, таскал и копил для семьи, а на старости лет доживает свой век в чужом доме. И вот теперь просит, пока в здравом рассудке, отписать свой домик колхознику Ивану Лукову, который пригрозил его.

– Да ты, никак, умирать собрался? – спросил Роман Евсеич.

Вопрос был нелепый и ненужный. Роман Евсеич спохватился и, чтобы скрыть смущение, отвернулся к окну и стал смотреть на улицу.

– Готовлюсь, Роман Евсеич, – с легкой серьезностью ответил Анастас.

Роман Евсеич усмехнулся, покачал головой и задал вопрос глупее первого:

– А не рановато?

Анастас пристально посмотрел на председателя, вздохнул и опустил голову.

– Значит, сына думаешь лишить наследства?

– Я так полагаю, Роман Евсеич, теперь говорить о наследстве как-то неловко. Устарел этот обычай-то, не нужен он по нынешним временам. Если все у нас общее, то и после смерти все должно остаться обществу.

– Правильно, отец, очень правильно... Институт наследства – единственный пережиток, узаконенный государством... – авторитетно заявил Роман Евсеич.

Анастас махнул рукой:

– Я не про себя говорю. Какое у меня наследство. Один дом, и тот кое-какой. Видно, и Андрей-то мой не очень в нем нуждается.

– Значит, дом решил завещать Луковым?

– А если возьмет колхоз – с радостью отдам, Роман Евсеич.

– Во как! Это хорошо, даже замечательно. – Председатель пристально посмотрел на Анастаса и задумался, а потом вскинул голову, весело улыбнулся и хлопнул по столу ладонью: – Решим так. Пока может, живи в нем сам, Анастас Захарыч. А если хочешь завещание оставить, то пиши на имя Ивана Лукова. Это все равно что колхозу... Я позвоню Евсюкову. Он тебе быстро состряпает эту бумаженцию.

Правление колхоза и сельсовет находились в одном доме. Трудно было понять, кто кому подчиняется – колхоз сельсовету или наоборот. Вообще-то по закону колхоз должен подчиняться сельсовету. Но по тому, как Роман Евсеич разговаривал по телефону с председателем сельсовета, Анастас понял, что руководителя местной власти Роман Евсеич крепко зажал и спуска ему не дает.

– Слушай, Евсюков, – приказывал Роман Евсеич, – завещание оформи, и безо всяких «но» и «да»... А на законных наследников начхать!.. Судить надо таких наследников: полуживого старика бросили на произвол судьбы. Ты смотри мне, старика не мытарь. Выдай ему завещательную, и баста! Понял, Евсюков? Тогда действуй...

Роман Евсеич посмотрел на часы, крикнул и сокрушенно покачал головой. Анастас поспешно встал и вплотную подошел к столу:

– Прости, Роман Евсеич, не осуди. Думку хотел одну поведать.

Роман Евсеич поморщился:

– Ну что ж, валяй...

И Анастас торопливо и сбивчиво изложил свою заветную мечту о колхозном рыбоводстве. Роман Евсеич слушал его с нетерпением, то и дело поглядывал на часы, назвал Анастаса «молодцом», пообещал обязательно подумать над его «проектом», пожал старику руку и, схватив портфель, выскочил из кабинета...

Местная власть расположилась в двух небольших комнатах. В одной сидел секретарь, в другой – председатель Евсюков.

Секретарь – девушка миловидная, опрятная – одним пальцем отстукивала на машинке протокол последней сессии. Евсюков сидел за массивным письменным столом, морщил лоб и кусал ногти: он о чем-то напряженно думал. Перед ним лежал лист бумаги, на котором четкими круглыми буквами было выведено: «Наши итоги». После долгих мучительных раздумий Евсюков взлохматил густые рыжие волосы, бросил перо, потер руки и весело посмотрел на Анастаса, который скромно сидел на краешке стула и не спускал глаз с председателя.

– Так... Значит, вы и есть тот самый Засухин? – спросил Евсюков.

Анастас встал и поклонился:

– Так точно, он самый... то есть я – Анастас Засухин из Дальних Выселков.

– Ага! Прекрасно! – воскликнул Евсюков, опять взъерошил волосы и потер руки. – Очень хорошо, товарищ Засухин! – Он прошелся по тесному кабинету, посмотрел в окно и опять сел на свое председательское место. – Тэк-с, вы по поводу завещания?

– Ну да, завещания, товарищ председатель, – поспешно заверил Анастас.

– Ясно. – Евсюков тряхнул головой и подмигнул Анастасу. – А проектик вы подготовили, товарищ Засухин?

Анастас, недоумевая, пожал плечами:

– То есть какой проектик? Что-то мне невдомек, товарищ председатель.

– Проект завещания... – Евсюков на минуту задумался, а потом довольно-таки толково пояснил: – Обыкновенное завещание, написанное собственной рукой. Вы, конечно, не написали?

– Нет, не написал, – искренне сознался Анастас.

– Ну и прекрасно! – воскликнул Евсюков. – Сейчас мы его быстренько сочиним.

Евсюков достал из ящика стола стопку бумаги, очистил перо, поскреб затылок, сказал: «Тэк-с, начнем, пожалуй», – и перо забегало по бумаге.

– «Я, Анастас Захарович Засухин, колхозник колхоза «Зеленые холмы», будучи в твердой памяти и здравом рассудке...» – писал и говорил Евсюков, и Анастас удовлетворенно поддакивал. Ему очень нравился этот молодой веселый председатель сельсовета. Евсюкову было лет тридцать семь. В его плотной, приземистой фигуре бурлила энергия. Большие голубые глаза были выпучены и чуть не вылезали из обрит. Ярко-рыжие волосы, казалось, горели. Чистое, с мягкой розоватой кожей лицо было до наивности благодушным.

Когда завещание было составлено и отстукано на машинке, Евсюков дал подписаться под ним Анастасу, потом размашисто подмахнул сам и в качестве свидетеля заставил подписаться секретаря, а потом все это скрепил гербовой печатью.

Анастас здесь же, в кабинете председателя, слегка вспорол подкладку пиджака и глубоко запрятал драгоценную бумагу.

Итак, вопрос, который так тревожил Анастаса, был разрешен как нельзя лучше. Больше делать ему здесь было нечего. Анастас решил закусить в столовой и потихоньку добираться к Дальним Выселкам.

Столовая занимала весь нижний этаж дома. Просторная, чистая, светлая, она поразила Анастаса белоснежными салфетками и необыкновенными разноцветными стульями и в то же время огорчила старика: в столовой категорически запрещалось распивать водку. А выпить Анастасу очень хотелось.

Анастас зашел в магазин, купил пол-литра и побрел на перекресток дорог – ловить попутную машину.

Луковы нашли старика на крыльце его дома. Он бессвязно бормотал, размахивал руками и все порывался сбить с двери замок. Нашли и недопитую бутылку с куском хлеба и луковицей.

Анастас надолго потерял сознание. И помешательство, в отличие от прежних, было буйным, изнуряющим. Он не спал сутками. Суетливо ходил из угла в угол, рот его нервно дергался, а глаза горели безумным, горячим блеском. Луковы насильно укладывали старика и накрепко привязывали к железной койке. Измученный старик забывался коротким, почти бездыханным сном. А среди ночи просыпался, с необыкновенной ловкостью и осторожностью снимал с себя путы и выскальзывал на улицу. Всю ночь напролет (если Луковы не спохватывались раньше) бродил вокруг своего дома. А в одну из холодных декабрьских ночей совсем исчез. Его нашли далеко от села в одном нижнем белье в копне гнилой соломы.

Анастас схватил тяжелый грипп. Высокая температура держалась полмесяца. Болезнь сопровождалась кошмарными снами, которые старик путал с действительностью. Долгое время он находился под властью странного до нелепости сновидения. Ему приснилось, будто бы кладбище перепахали трактором. Старик клялся, что он сам видел торчащие из земли ноги своей Стехи. Уговоры, убеждения, что это всего лишь дурной сон, не помогли. Иван запряг лошадь, посадил больного Анастаса в телегу и отвез на кладбище. Убедившись, что это и впрямь был страшный сон, Анастас успокоился и больше уже никогда о нем не вспоминал.

Анастас знал, что он непоправимо болен. Иногда, просыпаясь в полночь среди глубокой тишины, он чувствовал ломоту и тяжесть во всем теле. Тишина, отсутствие света и впечатлений, отдохнувший мозг только что проснувшегося человека – все это держало старика

некоторое время в сознании. Но с рассветом его снова одолевали впечатления, и голова не могла справиться с ними. Анастас опять становился безумным.

День ото дня старик терял силы, слабел. Теперь он походил на рыбу, выброшенную на берег, которая то бешено колотится о камни, то вдруг замрет, лежит, бессильно вытянувшись, минуты две-три, а потом опять начинает извиваться, биться и наконец засыпает с разинутым ртом.

Так было и с Анастасом. После буйства, непрерывных движений, без мыслей. Он жил и не жил. Казалось, что смерть и жизнь заключили между собой договор – не трогать старика.

Настя не раз писала Андрею о состоянии отца. На письма неизменно отвечала Зинаида Петровна. Она униженно благодарила Луковых за великую доброту, сердечность и аккуратно высылала деньги.

Только весной к Анастасу опять вернулись сознание и память.

В начале мая были ясные холодные дни, по ночам ударяли крепкие морозы. Природа замерла в каком-то блаженном оцепенении. Она чего-то ждала, молча, терпеливо набиралась сил. Лес стоял голый, низкий, подернутый прозрачным лиловым туманом, сквозь который проглядывали поляны с жидкой водянисто-зеленой травой и мелкими пестрыми цветами.

В серых, унылых полях неустанно с утра до вечера ползали тракторы. И неугомонно день-деньской в голых ветвях берез хлопотали белоносые грачи.

Прошла неделя, другая, рассудок не покидал Анастаса. Но голова уже не могла управлять телом. Мозг и тело существовали как бы отдельно, сами по себе.

Старик лежал неподвижно, словно зажатый в тиски. Теперь он мог только думать и вспоминать. Но думать было не о чем, да и не к чему. Вспоминать? Конечно, хорошие воспоминания приятны и отрадны. Память у него обострилась до крайности. И он еще больше напрягал мозг, почему-то пытаясь припомнить один эпизод из раннего детства.

Что же это было такое? «Это было... было... – беззвучно шевелил губами старик, – что-то белое, синее и красное».

И вот оно всплыло. Ослепительный зимний день. Белое – снег, синее – небо. И вдруг между синим и белым пронеслось что-то ярко-красное. Оно звенело и гикало.

– Ма-ма... – залепетал, захлебываясь от радости, маленький Анастас.

– Масленица, сынок, – сказала мать и кончиком платка вытерла сыну нос. Анастасу стало больно, и он заплакал. Так приоткрылась ему страница мира, удивительно яркая, свежая, полная очарования.

И вот еще одно. Он уже человек, умеющий самостоятельно ходить и кое-что понимать. Горошина. Обыкновенная жесткая горошина. Анастас пытается ее раскусить, но она крепкая, как камушек. Потом эта горошина неизвестно как попадает в ухо Анастасу.

Анастаса везут в больницу. Дровни на раскатистой гладкой дороге швыряет из стороны в сторону. Лошадь храпит, машет хвостом, бросает копытами в лицо снег. Вначале было весело, потом стало скучно и холодно. А лошадь все бежит и бежит, и бегут по сторонам высоченные сосны с дырявыми шапками и продрогшими корявыми стволами. И вот он в больнице. Анастаса ведут к доктору. Он длинный, тощий и весь в белом. Анастас от страха хватается за подол матери. А доктор смеется и показывает ему блестящую трубочку и обещает подарить ее насовсем, если он перестанет плакать. Как ни силился старик, так и не мог вспомнить, подарил ли ему эту трубочку доктор или обманул...

То, чего так терпеливо ждали природа и люди, наконец пришло. С вечера хлынул теплый обкладной дождь и всю ночь бешено обрабатывал крыши, косыми струями стегал по окнам, шумел и бурлил в придорожных канавах. А наутро горячее солнце захватило полнеба и, уставясь в разбухшую землю, стало колоть ее острыми знойными лучами, и земля задымилась. И тогда весна, отбросив робость, легко и стремительно понеслась, широко разбрасывая зеленые крылья.

В эту бурную дождливую ночь у Анастаса дважды останавливалось сердце. Это он чувствовал потому, что внезапно начинали трястись колени и судорогой сводило тело. Анастас пытался кричать и не мог. Чьи-то невидимые руки сжимали горло и с нечеловеческой силой растягивали тело. Иван с Настей дежурили у его кровати по очереди. Под утро Анастас захрапел. Луковы решили, что это конец. Но храп быстро прошел, и старик погрузился в глубокий сон.

Проснулся он к полудню. В доме, кроме Лидочки, никого не было. Настя приказала ей доглядывать за больным Анастасом, которого, как она выразилась, «бог прибирает, прибирает и никак не приберет». Лидочка была рада, что в школу не надо идти, и поэтому развлеклась как могла. Она пеленала котят и укладывала спать в тесный ящик стола. Кошка желтыми глазищами смотрела на Лидочку, жалобно мяукала, стучала по полу хвостом.

Проснувшись, Анастас ощутил во всем теле необыкновенную легкость, словно оно стало невесомым. Сладко кружилась голова, а перед глазами вспыхивали и гасли радужные искры.

Почувствовав, что смерть подкрадывается к нему без тех страшных мук и издевательств, которых он так ждал и опасался, Анастас лежал тихо, не шевелясь, притаив дыхание, словно боясь спугнуть ее.

Лидочка распахнула окно. В избу потек прохладный, влажный, слегка пахнущий дымком воздух. Анастас весь задрожал, сердце сдавило, и по щекам невольно покатались крупные мутные слезы.

За окном разноголосно звенела весна. Надсадно, в каком-то блаженном упоении, заливался скворец, нежно, задумчиво ворковали голуби и протяжно, словно пьяные, распевали куры.

Анастасу стало невмоготу. Неудержимо потянуло на волю, к солнцу. Немея от слабости, он сполз с койки и, держась за стены, выбрался на крыльцо. Игривый, бодрый весенний ветерок налетел на старика, пузырем надул за спиной легкую ситцевую рубашу. Анастас, как рыба, хватал ртом воздух, улыбался и плакал и говорил себе вслух твердо и решительно:

– Нет... погодь... успеешь... Вот взгляну на дом, на сад, на мир, а потом бери меня, подлая... Не жалко... Я давно готов.

Лидочка сидела на подоконнике, ошипывала краюху хлеба, а крошки кидала под окно курам. Куры жадно хватали хлеб и дрались. Это занятие так увлекло ее, что она не заметила, как дед вышел из дому. Она увидела Анастаса, пробирающегося вдоль забора. Худой, на тонких, как ходули, ногах, он стоял, широко расставив руки, и качался, словно пугало на огороде. Лидочка от изумления ахнула и, как мать, прошептала: «Царица небесная!» – потом пронзительно заголосила:

– Дедка! Куда ты?! Не ходи!

Анастас, качаясь, добрал до забора, привалившись к нему, передохнул и потом, хватаясь за шершавые колья, потащился дальше, в свой сад. Лидочка шла за дедом, всхлипывала и тянула нараспев:

– Дедушка, не ходи! Миленький, не ходи!

За одну эту ночь сад преобразился. Вдоль забора, под кустами – везде, где сыро, мягко, – засела молодая, жгучая крапива. Смородину, крыжовник усыпала изумрудная, кудрявая пороша. Черный, словно обугленный, вишенник выпускал крохотные, как град, бутончики. Пышная, остро пахнущая, среди еще серо-корявых яблонь, груш и сивых кустов сирени, стояла белая черемуха. Ее осаждали темно-синие мухи и полчища невесть откуда появившейся мошкары.

Старая яблоня, срубленная Анастасом в начале зимы, лежала на земле, разбросав крючковые ветви. Она еще была жива и пыталась в последний раз раскрыть свои вялые почки. Это была ее последняя весна.

Долго стоял над ней Анастас, недоумевая: кто же мог срубить его яблоню, ровесницу и друга детства? Но думать и стоять уже не хватало сил. Ноги старика подогнулись, и он неловко присел на ствол яблони. Сидеть было очень неудобно. Но Анастас этого не чувствовал. Опять затряслись колени, и опять чьи-то невидимые руки начали душить его и растягивать тело.

Лидочка давно забыла про Анастаса. Она носилась по саду, кричала, ловила бабочек, сбивала веткой с цветов пчел.

Когда Анастас очнулся и тусклыми, свинцовыми глазами посмотрел на мир, то не мог понять, что это – сон или явь? Сердце билось неровно, замирая. Он смотрел на свой весенний сад, весь залитый солнцем, и не узнавал его. Во всем было что-то ненастоящее, неземное. И солнце светило не так, как прошлой весной, и скворец пел странно, незнакомо, и даже пчелы жужжали совсем по-другому. Он поднял глаза и ужаснулся. Он не увидел неба. Одно огромное жгучее солнце. И чем больше смотрел на него Анастас, тем страшнее оно накалялось, плавилось и вдруг хлынуло в глаза неудержимым золотым потоком. И сразу стало темно. Послышался отдаленный, необыкновенно чистый звон колокольчиков. Он нарастал, приближался, глож и вдруг зашумел, как первый весенний дождь. Анастасу стало так легко и отраднo, что захотелось лечь и вытянуться...

Его схоронили без слез, без речей, без поминок. Все очень торопились. Луковы торопились поскорее вынести из дому гроб; супруги Засухины – успеть к поезду. Они так и сделали – уехали в тот же день, упросив Лукова присматривать за их домом. Почему?! Завещание-то Анастас унес с собой в подкладке своего праздничного пиджака. Может быть, он забыл про него, может быть, он все простил сыну, а может быть, в последние перед смертью дни добро и зло для него не имели никакого значения. На его окнах – темные горбатые ставни, а на дверях – изъеденный ржавчиной замок.

1961

Записки народного судьи Семена Бузыкина

Узор

Поселок Узор вытянулся вдоль шоссе от моста через речку Каменку до конторы «Заготсырье». Каменка потому так и называется, что в реке больше камней, чем воды, а летом ее куры вброд переходят. На обрывистом берегу в березовой рощице – больница. За конторой «Заготсырье» – пастбище, поросшее мелким ольшаником, выбитая копытами животных земля напоминает свежее пожарище. А вокруг топкое непроходимое болото.

Поселок пересекает железная дорога. Местный старожил, старик еще бодрый, но глухой, как пень, рассказывал мне так: «Утонул бы Узор в болотах, кабы не могучая воля барчука Парнова. Закупал он во всей округе скот и торговал мясом, а в Узоре свою бойню держал. Страшный богач был. Подпоил начальство, и сделали здесь станцию. Не быть бы тут Узору: его место в городищах, верст за пять отселева. Потому как там место лобное, весной и осенью сухое».

Раньше поселок Узор являлся районным центром. Это было в те времена, когда Дом колхозника битком заселяли уполномоченные и заготовители всевозможного рода. Здесь годами проживали уполноминзаги и по мясу, и по зерну, и по молоку, по овощам, по картофелю, по селу, лесу – всех теперь не перечтешь; но хорошо помню, что одно время там околачивался уполномоченный по ликвидации яловости скота. Но и это не все. Периодически район бурным потоком наполняли представители областных организаций. Это были «кампанейские» ребята. Потому что появлялись они на период посевной и уборочной кампаний... И тогда не хватало коек в «гостинице». Они ютились где попало. У меня в суде, на холодном кожаном диванчике, частенько ночевал третий секретарь обкома партии Мареев – умный, добрый и общительный человек, который не гнушался ни откровенными разговорами, ни скромным гостеприимством.

Говорят, когда-то Узор насчитывал до полутысячи домов. После войны и сотни не осталось бревенчатых домиков с жидкими палисадниками под окнами; стоят еще два десятка кирпичных коробок с темными мрачными глазницами вместо окон.

Здание райисполкома – самое солидное и богатое в поселке: двухэтажное, с балконом и колоннами у входа. В насмешку над местной природой архитектор залепил карнизы тучными кистями винограда. Дом райкома партии тоже каменный и двухэтажный. Но здесь архитектор показал свое полное пренебрежение к излишествах и красоте. Поставил огромный серый ящик с тремя десятками окон, а под карнизами вырубил две круглые слуховые дыры и от них во все стороны пустил стрелы.

Первое, что я увидел из вагона поезда, сразу за переездом – триумфальную арку, увитую рыжей хвоей. В сильный ветер арка качалась и угрожающе скрипела. Полгода обходил ее районный прокурор. Потом позвонил начальнику милиции. Начальник милиции – пожарному инспектору. После этого я видел, как арку два пожарника около столовой раскатали на дрова.

Моя резиденция – приземистое, неудобное, как сарай, здание с вывеской «Народный суд» – оказалась по соседству с конторой «Заготсырье», на самой окраине поселка. Зимой его нередко чуть ли не до крыши заносило снегом. Моя уборщица и сторож Манюня широкой деревянной лопатой весь день разгребала тропинку от крыльца до шоссе; иногда ей помогали истцы с ответчиками, и мне всегда казалось – не без тайного умысла.

Жил я у Василисы Тимофеевны Косых. Весь свой дом с комнатками и комнатухами она сдавала внаем. Сама же ютилась на кухне. Однако квартиранты у нее долго не задер-

живались. Снимал я у нее узкую, темную, как печная труба, комнатуху с одним окном. До меня в ней жил агроном сельхозотдела. По уверениям хозяйки, «беспробудный пьяница, бабник, сожрал три связки луку и, не заплатив, съехал с фатеры».

Я знал агронома. Застенчивый человек, трезвенник, большой труженик и неудачник, он никак не мог оправдаться перед Косихой. Правда, лук он ел с какой-то непонятной жадностью и пропах им насквозь, как баранья котлета.

Меня хозяйка терпела и соседкам говорила: «Удобный квартирант – платит хорошо, обходительный, не путаник, а ведь совсем холостой, только табакур. Накурит, так накурит, хоть из дома беги». И все удивлялись. Удивлялся и я, но не долго. Зимой на каникулы с бухгалтерских курсов приехала ее дочь Симочка. Взглянул я на нее, и сомнение взяло: да дочь ли она Косихи? Так они не походили друг на друга. Мать напоминала почерневшую, но еще крепкую доску. Симочка была воплощением мягкости и круглости. На ее белом, пухлом, с легким румянцем лице, словно огромные изюмины, торчали изумленные глаза.

Вечером она зашла ко мне как к старому знакомому. Развязность иных женщин, порою граничащая с наглым вызовом, меня теперь не удивляет. Я видывал и не то... Но в поведении Симочки все было так просто, непринужденно, доверчиво и красиво, что мне стало отраднo, словно я ее ждал, и ждал давно, с нетерпением и трепетом. Не помню, чем я тогда был занят – не то читал, не то писал, в общем, как-то разумно бездельничал. Симочка подвинула стул, села, положив на кромку стола упругие, как мячи, груди, и стала смотреть мне в лицо с пристальной серьезностью. Я тоже не мигая смотрел на нее, как зачарованный. Ее розовое, теплое лицо было очень серьезно, Симочка старалась серьезничать. И это ей удавалось, но с большим трудом. Нижняя губка у нее дрожала, а в зрачках этих странных глаз то вспыхивали, то гасли радужные искры. Подобную световую игру глаз я наблюдал в темноте у кошек. Так мы смотрели друг на друга минуту, две, а мне показалось – целую вечность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.